

14.408 К

К. ШИЛЬДКРЕТ

В СИТЦЕВОМ
ЦАРСТВЕ

✓
50632

ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Кол-во, пред. выдач _____

401 20/12

Воскр. типог. Т. 3.000.000 З. 1849—66

К. ШИЛЬДКРЕТ

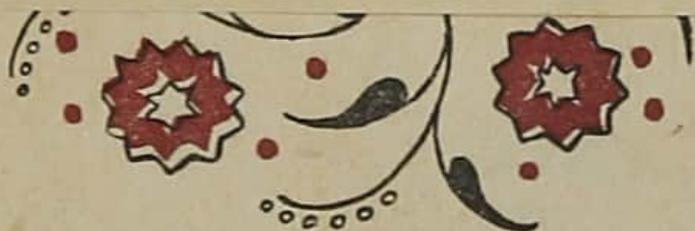
В СИТЦЕВОМ ЦАРСТВЕ

ОПЕЧАТКА ПО ВИНЕ ТИПОГРАФИИ

Страница	Строка	Напечатано	Надо
39	2 сверху	— Бог это по-нашенски!	— Вот это по-нашенски!

К. Шильдкрет „В ситцевом царстве“

14.6



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА

1941

СЗ -- 2010

К. ШИЛЬДКРЕТ

В СИТЦЕВОМ
ЦАРСТВЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ
РАССКАЗЫ

14.408к



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

МОСКВА

1941

СЗ - 2010

Заставки художника *М. Пикова*
Переплет и титул художника *Л. Мюльгаупт*



Ответственный редактор *В. Шкловский*

№ А38604. Подписана к печати 6 июня 1941 г.
Печатных листов $9\frac{1}{4}$. Авторских листов 12,03. Бумага $70 \times 92\frac{1}{32}$.
Колич. печ. знаков в листе 53760. СП № 326. Заказ № 5046.
Тираж 10.000. Цена в обложке 4 р. 50 к.

Полиграфкомбинат им. В. М. Молотова. Москва, Ярославское шоссе, 99.



КАБАЛА

Глава I

Деревушка давно уже спала, а ткачи-светелочники Петров и Лапин все еще сидели на завалянке, томимые одной и той же невеселою думою: вчера их вызвал к себе управитель Ивановской вотчины графа Шереметева и решительно объявил:

— Даю месяц сроку. А не внесете оброк полностью — шкуру сдеру, а выродков ваших — в рекруты. Поняли? Пошли вон!

Как тут быть? Что придумать? В кабалу ли отдать Митьку с Игнашкой, чтоб было чем оброк уплатить, в рекруты ль погонят их, — толк один: что в лоб, что по лбу, все равно не помощники они уже дома.

А другого выхода, как ни прикидывай, — нет. С управителем шутки плохи.

Лапин то и дело беспомощно разводил руками и в сотый раз повторял:

— Видал, Егорыч? Что же это будет? Бог-то где? Он чего смотрит?

Петров понуро свесил голову и молчал.

— Жить-то, Егорыч, как будем одни, без кормильцев? Что молчишь? Присоветуй...

При лунном свете желтое лицо Лапина казалось призрачным, неживым.

— Да отвечай же! — крикнул он вдруг раздраженно. — Хоть словечко скажи.

Но тотчас же, словно пристыженный, жалко съежился и притих. Чего уж, в самом деле, было ждать от Петрова? Что мог ответить он на неразрешимый вопрос? Все ясно: оба они стали у черты — сыновья должны уйти из дому.

Вокруг была глубокая тишина. У опушки леса клубился туман. Где-то далеко позади, должно быть, за огородами, глухо скулил кутенок. Под оконцем, в темной лужице, матово поблескивал осколок луны. По дороге воздушным комочком промелькнула мышь и растаяла у повети.

Лапин прислушался к доносившемуся из-за огородов нытью.

Становилось сыро, и от этого еще тоскливее, безнадежней... Да, не чаял Лапин такой великой напасти, мысли не допускал, что у него отнимут последнюю надежду — во всем послушного старшего сына.

Еще только третьего дня, когда старуха кручинилась на судьбу, Лапин с теплой улыбкой утешал:

— Ничего, старая. Бог не без милости. По осени оженим Игнашку, молодушка-работница в избу взойдет, и таково заживем с тобой, люди завидовать будут.

Старик уже и невесту нашел для сына. — вон, в той избенке, что на юру, у ракиты. Хорошая девка. Всем взяла: и лицом пригожа, и ласковая, и работающая.

— Что же, Егорыч? Выходит, вместо венца в кабалу? И нам со старухой и ему на погибель? А почему так? Почему, как беда, так завсегда на одних только убогих ложится?.. Всё мы да мы крест несем, а богатеи — те ничего. Взять хоть бы одиннадцатый год, перед французом. Кто в некруты пошел? Убогие! А богатеи и тогда откупились. По две тысячи рублей платили за своих сыновей! Вон оно как... Вся наша жизнь — кабала...

При упоминании о кабале Петров словно бы очнулся от забытья.

— Кабала, говоришь? — встряхнулся он. — Кабала и есть, Никанорыч. И не уйти от нее. С богом да с управителем не вступишь в спор. Как есть мы графские крепостные людишки, должны, выходит, терпеть.

И, не простившись, заковылял к своей, вросшей в землю, избенке.

Лалин помялся на месте, хотел было окликнуть соседа, но покачал лишь головой и, сутулясь, шагнул к своей двери.

В избе пахло овчиной, капустой, застоявшимся кислым квасом. На земляном полу неровно протянулась лунная тропинка, — она легла на лицо сладко спавшего рядом с Игнашкой мальчика.

Лалин, чтобы никого не разбудить, тихонько разделся, помолился неслышно перед образом и собрался уже лечь, как вдруг его негромко позвал Игнашка.

— А я думал, спишь, — ласково заметил отец. — Время-то к петухам первым подходит.

— Не спится мне.

— А ты помолись. Оно от молитвы, глядишь, и полегшает.

— И то молился, отец, — сдавленно произнес Игнашка и часто засопел носом. — Да не идет дума из головы...

Старик, кряхтя, опустился на постель сына.

— Сам я, Игнаша, сна решился. — И, набравшись смелости, внезапно выпалил: — И нечего думать. Управитель все рассудил. Не миновать тебе кабалы. Все же лучше кабала, чем некрутчина.

Игнашка так неожиданно рванулся с пола, что старик вздрогнул и отпрянул к стене.

— Или рехнулся?

— Не пойду в кабалу! — крикнул Игнашка и стукнул изо всех сил кулаком по столу. — Грех непрощенный приму, удавлюсь, а в кабалу не пойду!

Но тотчас же обессиленно приник щекой к двери.

— Как велишь... как твоя воля, отец.

Петров и Лапин долго рядили, кому из фабрикантов отдать сыновей в кабалу, пока не остановились на богатом скупщике Якове Якимовиче Кураеве, которого считали человеком простым и справедливым.

Кураев и в самом деле не походил на других скупщиков. Он не кичился своими достатками, держался с мелкими светелочниками, как равный с равным, любил поговорить с ними о земле, оброках, о боге.

— Да, да... Ничего не скажешь, — вздыхал он. — Трудненько живется вам... Что и говорить, незавидная жизнь. Как сподобит бог в Питербурх съездить, обязательно челом ударю нашему графу.

— Заставь, Яков Якимов, бога молить, — кланялись в пояс крестьяне.—Закинь графу словечко.

Растроганный чужим горем, Кураев доставал из-за пазухи мошну и давал светелочникам немного денег под ссудную запись с наростом.

Когда наступал срок платежа, он не только не требовал погашения долга, но сам же предупредительно говорил:

— Да чего уж... Да что с тебя взять... Нешто мы без креста? Перепишем запись, наростик прикинем и все тут... как бы сказать.

Светелочники и рады были расчесться с долгом, снять с шеи петлю, но безысходная нужда заставляла клонить низко голову и благодарить скупщика за «поблажку».

Так, постепенно, из года в год, целые деревеньки оказались неоплатными должниками Кураева...

Было воскресенье, когда Петров и Лапин приплелись в село Иваново, к Якову Якимовичу.

Скупщик принял их как старых знакомых и тотчас же усадил за стол.

— Кваску не хотите ли? — любезно предложил он. — Квасок отменный, с гвоздичкой.

— Покорнейше благодарим, — в один голос ответили старики. — Спасибо, Яков Якимов.

Они уселись между расстригой-священником, постоянным гостем хозяина, и каким-то лысым, обряженным в скуфейку, богатырем, должно быть, странствующим монахом.

Поговорив для видимости о разных разностях, крестьяне, запинаясь, приступили к главному.

Кураеву очень хотелось приобрести двух кабальных, почти даровых работников. Но так случилось, что как раз в это время у него не было свобод-

ных денег: почти все наличные он ухлопал на подвернувшуюся случайно выгодную покупку большой партии миткаля.

— Нет, — с сожалением произнес он, — двух никак не осилить. Наканорычу, так и быть, по старой дружбе, уважу, а ты уж, Егорыч, прости, не могу.

Петров потускнел.

— А то бы выручил, Яков Якимов, — неуверенно попросил он еще раз. — Пожалел бы старость мою.

— Да неужто не выручил бы? Только не взыщи, не могу...

Кураев произнес эти слова вовсе не для того, чтобы отделаться от назойливого просителя. Люди, особенно кабальные, с которыми фабриканты могли обращаться по всей своей воле, как с собственной вещью, были нужны ему дозарезу. И потому, жадно, словно кот на мышь, поглядывая на Петрова, он принялся расчетливо обдумывать, как бы так устроиться, чтобы не упустить заманчивую добычу.

Вдруг он прищелкнул пальцами и, никому ничего не сказав, вышел из горницы.

Через окно Лапин увидел, как скупщик скрылся в воротах дома фабриканта Ефима Ивановича Гранова.

Едва войдя к Ефиму Ивановичу, Кураев без долгих слов попросил у него денег взаймы.

— Покупочку нащупал, Якимыч?

— По праздникам не торгуем, — гордо бросил Кураев. — По праздникам для души живем. Старики тут светелочники пришли. Сыновей в кабалу отдают. Выручить хочу... как бы сказать.

— Да на что тебе два? Для бога, так для бога. Одного мне отдай, другого себе возьми.

Вернувшись домой, Кураев только руками развел.

— Хотел, Егорыч, порадеть для тебя. Да уж не судьба, видно.

Петров встал из-за стола и, поблагодарив хозяина за хлопоты и заботу, поплелся к Ефиму Ивановичу.

Расстрига-священник достал тем временем бумагу, перекрестился и застрочил:

«...Отдаю Якову сыну Якимову Кураеву сына своего Игнашку на фабрику его в работу на десять лет с договорною ценою на каждый год по 20 рублев. И оному сыну моему, Игнашке, жить у него, Кураева, вышеуказанные годы во всяком послушании, неотлучно, безо всяких прогулов, и без воли хозяйской никуда не отлучаться. А если будет ослушен или без слова хозяйскова куда отлучится, зато подвергаю себя телесному наказанию. А жить ему, Игнашке, у него, Кураева, на своей пище и одежде, к тому не пьянствовать и с подозрительными людьми не знатца. А если, паче чаяния, случится показанному сыну моему какая болезнь или за ослушанием или пьянством будет в работе не способен или ему смерть, то должен я, Лапин, ему, Кураеву, представить другого сына безотговорочно».

Получив деньги, старики отправились по домам. Невесел был путь их. Узелочки с ассигнациями, спрятанные на груди, давили, жгли душу. Непослушные, точно чужие, ноги переступали деревянно, не по-живому. И так хотелось обоим свернуть в противоположную сторону от родной деревеньки, уйти куда глаза глядят, только бы не встретиться, не остаться с глазу-на-глаз с проданными в кабалу кормильцами-сыновьями!

За всю дорогу они не обмолвились ни словом.

Лишь у самой околицы Лапин остановился и снял выцветший, как его борода, пыльно-бурый картуз.

— А? Егорыч? Видал?

Петров хотел ответить, но только махнул рукой и расслабленною походкой зашагал к своей избенке.

Глава II

Превозмогая тупую боль в пояснице, мать Игната сползла с печи и с плачем припала к груди сына.

— Кормилец ты наш! На кого ж ты нас покидаешь?!

Старик прикрикнул было на жену, но тут же отвернулся и закрыл руками лицо.

Игнат опустился на колени перед образом, потом отвесил низкий поклон родителям и, сунув подмышку тощенький узелок, пошел к двери.

— Смотри же, Игнашка, — напутствовал сына Никанорыч, — живи в тишости и послушании, старшим не перечь, а ежели и обидит кто, терпи, как положено нам по крепостному нашему званию.

Осенив Игната крестом, он поцеловал его из щеки в щеку.

— Ну, иди с миром... Дай тебе бог...

У околицы Игната нагнал Петров.

— Федул, чего губы надул? — дружески хлопнул парень ладонью по спине Лапина и рассмеялся. — Эка невидаль — кабала. Авось, проживем. Давай лучше песни играть...

И первый зачастил во весь голос:

Как у кумова двора
Есть укатана гора,

Укатана, улита,
Вся башмачками убита...

— Припевай, что ли, Игнашка! Ну те-ко, жарь
за мной:

Там да вот это,
Здесь да вот это.

— Чего ж ты! Эх, баба!
И еще разудалей:

Распроклятый башмачок!
Повернулся каблучок;
Повернулся каблучок, —
Я упала на бочок...

Игнат только больше хмурился и угрюмо вышагивал за товарищем.

Но едва они очутились за околицей, как Митрию волей-неволей пришлось прервать пение.

Укутанная пылью дорога была точно в дыму. И, как дым, пыль выедала глаза, обжигала лицо, сушила рот, горло, легкие.

— Там пойдем, — буркнул Лапин, сворачивая далеко в сторону, туда, где смутно маячил лес.

Добравшись к густому сосняку, оба с большим облегчением вздохнули.

Дремучий лес сразу живительно подействовал на Игната, он повеселел, стал разговорчивей.

— Эка благодать божья! Век бы нам с тобой, Митрий, тут жить...

Они долго бродили по чащобе, часами просиживали в обильных малинниках и не заметили, как день начал убывать.

— Итти, — сказал наконец Митрий. — Пошли, что ли, лесом. Оно хоть вроде и не с руки, зато вольготней...

И они двинулись дальше.

Но чем ближе подходили земляки к Иванову, тем недоуменнее вытягивались их лица.

— Что за диковина? — в крайнем любопытстве пожимал плечами Игнат. — О залетошнем еще годе проткнуться не мог тут, такая густота стояла кругом... Что сосна, что береза, что ельник, — невпроворот...

Далеко, куда лишь достигал взгляд, по дороге к селу стояли голые пни.

Пни были свежие. — на светлой поверхности янтарно пузырились обильные капли смолы.

— Каково духовито! — то и дело умилялся Петров и при этом так горестно покачивал головой, как будто смоляной аромат не радовал, а вызывал воспоминания о чем-то невозвратно ушедшем, далеком и милом.

«И кому в помеху тот лес? — раздраженно морщился Лапин. — Да была б моя воля, я показал бы им, как охальничать!»

Подле Уводи товарищи окончательно смутились духом.

— Слышишь, Митрий, как от реки несет некажисто? — повел носом Лапин.

— Да и воды чуть осталось, — прибавил Петров. — Чать, от такой напасти и рыба перевелась.

Они принялись вспоминать, какое обилие лещей, щук, язи, линей, окуня лавливали в этой, теперь загаженной текстильными протравами, обмелевшей от порубки лесов, недавно еще многоводной реке.

Завидев вдалеке село, Петров вдруг присвистнул.

— Вот и отгуляли свое. К самому, значит, ярму подошли.

Прежде чем явиться к хозяевам, кабальные, чтобы немного оттянуть время, медленно поплелись по сельским улицам.

За два-три года село так изменилось, что парням показалось, будто попали они в него впервые.

— Выросло как, гляди, Митрий, загляденье! — удивлялся Лапин, разглядывая каменные дома фабрикантов, церкви, фабрики, людную торговую площадь...

Да и впрямь раскинулась широко вотчина графа Шереметева — село Иваново. Одна часть села, робкая, бесприютная, по-сиротски жалась к земле, другая, чопорная, властная, так и норовила захватить как можно больше места, все ширилась, обростала новыми домами, но не успокаивалась, строилась дальше... Дымились многочисленные фабрики, вокруг высились штабеля бревен, дров, вывезенных из сведенного леса.

Кабальные обошли Ильинскую, Краснопрудную и Садовую порубежные улицы, измерили всю Московскую до самого тракта, ведущего на Москву, и, отдохнув при дороге, взволнованно переглянулись.

Обоих внезапно охватил страх. Казалось, стоит лишь им разойтись, как непременно приключится что-то недоброе.

— В деревню бы сейчас, — глубоко вздохнул Игнат. — Время к закату. Должно, девки в лес уже высыпали. Хороводы сейчас поведут.

Митрий потрянул русою головой и ухарски сбил набекрень картузишко.

— Будет тебе панихиду тянуть! По крайности себя покажем и людей увидим. Нно, поехали, что ли!

И первый зашагал по дороге к каменному особняку фабриканта Гранова. За ним, точно приговоренный, понуро поплелся Лапин.

Кураев был на дворе, когда в воротах показался Игнат.

— Не Лапин ли? Что поздно так?

— Село глядел, Яков Якимов.

— Квартеру искал?

Лапин смутился.

— Ну, да ладно, — снисходительно улыбнулся скушник. — Покудова здесь живи. А будешь стараться, то и харч положу. — И он указал рукой на примыкавшую к коровнику клетушку. — Ходи туда, там и живи.

Кабальный поклонился низко и направился к новой своей обители.

С рассветом он был уже на ногах.

Над рекой Уводью плыл густой туман. По улице, вздымая облака пыли, шагало стадо. Уютно и мирно звучал рожок пастуха, изредка прерываемый сочным хлестом бичей. Там и здесь из покосившихся избенок выходили рабочие — молодые, старые, женщины, дети.

Вскоре они запрудили всю широкую улицу. На перекрестке людской поток разбился узенькими ручейками. Ручейки потекли к настезь открытым фабричным воротам.

Игната ввели в просторную, с окнами со всех сторон, набойную избу.

Старший внимательно оглядел новенького и, не ответив на поклон, ткнул пальцем в окно.

— Запомни: там — заварка. Вон, в сторонке, — видишь? А там вон — мытилка. Тут вот (палец поднялся ввысь), над верстаками, вешала. Повтори-ко. Да не вершала, а ве-ша-ла, деревня ты этакая. По ним миткаль двигается во время набивки. Ну-кось, повтори еще раз.

Лапин без запинки повторил.

— Ловко! — одобрил старший. — Видать, голова со смекалкой. А теперь приглядывайся, запоминай, что к чему. Работать нынче не будешь.

Игнат слушал, низко склонив голову, как учил перед расставаньем отец.

Старшему пришлось по мысли крепкогрудый рыжий паренек. Особенно льстили почтительность кабального и то восхищенное любопытство, с которым он рассматривал набойную светелку.

Старший остановился у двух четырехугольных столов и начал что-то примерять к двум ровно выстроганным доскам.

Два мальчика, опасливо косясь на мастера, покрывали столы сукном.

— Учись, — промолвил старший. — Как тебя звать-то? Игнашкой? Ну вот, Игнашка, заруби на носу: ежели со вниманием, — штрифовальную науку быстро превзойти можно. Знай только старайся.

В тот день Игнату никакого дела не поручали, он следил лишь за работой других.

С каждым часом ему становилось все больше не по себе. Сдавалось, никогда не научится он с такой ловкостью, ровно и гладко расстилать миткаль по сукну, либо, не упуская ни одного мгновенья, тотчас же вслед за ударами формы по миткалю, растирать кистью краски, как это делает вон тот, сидящий верхом на скамье подле штрифовального ящика, угрюмый малец. А уж накладывать краски на поверхность выбеленного миткаля, да еще расправлять миткаль по набивному столу так, чтобы не было складок и некрашенных полос, — нет, этой премудрости ни вовек не одолеть Игнату! Разве что с чокмариком кое-как удастся справиться, — с колотушкой. И то страшно.

«Ишь, как мальчонка чокмариком тем распоряжается, словно бы в бубны колотит», — завистливо вздохнул Лапин и, набравшись смелости, обратился к подручному:

— Дай-кось попробовать.

Он уже протянул руку за колотушкой, как вдруг вскрикнул от неожиданного удара по затылку.

— Сказал, нынче работать не будешь, и не суйся! — прикрикнул на Игната старший.

Все притихло в набойной. Дети-штрифовальщики еще усерднее принялись за работу.

Пятнадцать часов, проведенных в набойной, показались Лاپину бесконечностью. Он до того отупел, что под конец перестал соображать, а поздно вечером, едва добравшись до клетушки, тотчас же завалился спать.

Проснулся кабальный с тяжелой головой. Перед ним, на земляном, пропитанном навозом, полу, лежал ломоть черного хлеба.

Не успел Игнат проглотить последний кусок, как за ним пришли.

Лапин очень обрадовался, попав не в набойную, а в заварку. Это было здание без потолка, но под крышей, с широкой дверью на улицу и узенькой — на реку, по направлению к мытилке. Здесь, для укрепления расцветки и большей яркости колера, ситцы заваривали в жидком отваре крапла, гарансина и марены.

От крапшовых ванн поднимались ядовитые облака пара. С крыши капало, как в жарко натопленной бане. От страшной духоты и ядовитых испарений нечем было дышать и невыносимо чесались слезящиеся глаза.

Не прошло и получаса, как кабальный уже искренно жалел, что находится не в набойной. До обеда простоял он у огромной печи с вмазанными сверху котлами и по знаку старшего бросал в топку дрова.

Воздух так накалился, что его приходилось не

вдыхать, а осторожно цедить сквозь плотно сжатые зубы. Рот, горло и грудь точно обжигало кипятком.

Игната дважды выволакивали за дверь и обливали водой. Но едва он приходил в себя, его тотчас же снова гнали в заварку.

В полдень два мальчика, по приказу старшего, бросили работу и помчались к дому Кураева.

Вскоре они вернулись с ведром постных щей и огромною миской каши.

Рабочие вышли на двор и, устроившись в кружок, приступили к еде...

После обеда мастер приставил Игната к барану¹, помещавшемуся над котлом.

Баран, на который укладывали набитый ситец, вертели исходившие потом трое поденщиков.

— Не мы словно крутим, — ворчал один из набойщиков, выбиваясь из последних сил, — а будто сами вертимся в чортовом колесе.

— Конца-краю нет тому треклятому ситцу! — в свою очередь отзывался Игнат. — Вертишь, вертишь, а он все не кончается.

— И не кончится. Не жди. Концы-то ситца за годя связаны.

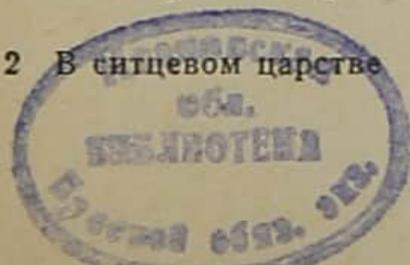
Лалин готов был пасть на колени перед старшим, когда тот из милости перевел его на мытилку, представлявшую собой обыкновенный плот, где промывали снятый с барана ситец.

— Дышишь? — остановил мастер шагавшего с работы кабального.

— Муторно, Михеич. Сам не свой стал.

— Ничего, парень, обойдется. Поначалу оно всегда так.

¹ Б а р а н — барабан для намотки ситца.



Игнат снял картуз и отвесил низкий поклон.

— Михеич!

— Молчи. Знаю, чего хочешь просить. На мытилке хочешь работать.

— Дозволь, Михеич. Уж таково буду стараться...

— Вот и видно дурака сразу. Или даром хозяин отцу твоему уйму денег за тебя отвалил? Ты всему должен обучаться. А пуще другого — заварочному и набойному делу.

Потянулись долгие, однообразные рабочие дни. Фабричные поднимались перед рассветом и, наскоро закусив кто редькой с квасом, кто ломтем черного хлеба, кто оставшейся с вечера холодной похлебкой, торопились в набойные, в парные бани-заварки, к бесконечным зуботычинам, к черной и густой, как дух заварки, брани, — с тем, чтобы поздним вечером возвращаться едва живыми домой и камнем валиться на измызганный пол для короткого сна.

И так вчера, сегодня, завтра, в грязи, в пекле, в пропитанных ядовитым дыханьем светелках, в голоде, в холоде...

В первые дни Лапин был твердо уверен, что не перенесет этой каторги. Бесконечный ситцевый ремень, который, по его выражению, «все ходит, все ходит на чортовом этом баране», в конце концов, казалось ему, захлестнет его и задушит.

Но старший оказался прав. Все понемногу обошлось. Кабальный незаметно для себя постепенно втягивался в работу, привыкал к ней, насколько дано человеку привыкнуть к ярму и терпеть его. И так же незаметно для себя Игнат осунулся, похудел, позабыл о том времени, когда он шутил и смеялся.

В праздники кабальный почти никуда не ходил,

все больше отлеживался и лишь в редкие дни отправлялся с Петровым в гости и там с затаенным дыханьем слушал рассказы пришлых людей о деревне.

В такие минуты кабальный становился неузнаваемым. Все проваливалось куда-то: и долгие бессонные ночи у ткацкого стана в убогой отцовой светелке, и лютые голодные зимы, и стоны больной матери, и жалобные причитанья меньших братьев, требовавших невозможного — краюхи хлеба. Деревня представлялась чудесной сказкой, какой-то обетованной землей.

То была извечно-заложенная в человеке тоска по родным местам, по самому дорогому и незабываемому — по дням, пусть жестокого, но все же неповторимого детства...

Однажды к Лапину пришел чем-то очень взволнованный Митрий.

— Били меня вчера, Игнашка. Смертным боем, проваленные, били.

— За что? — содрогнулся Игнат.

— За мальчонку вступился. Мальчонка так себе, одна видимость, кожа да кости, а его целехонький день в заварке морили. Он упадет, — его кулаком по голове поднимают. Упадет, — кулаком поднимают. Я и не утерпел, вступился. Ну, с меня кожу-то и спустили.

Игнат с глубоким участием поглядел на земляка.

— Ой, и долго нам еще маяться, Митрий! Иной раз думается, век мы живем тут, а на поверку и до году еще нивесть сколько тянуть.

— Это как кто счет поведет, — зло возразил Петров.

— Да как ни веди, а все девять с лишним годов терпеть нам еще. А ведь когда шел сюда, не

чаял, что такая мука тут ожидает. Старики хоть и сказали, что не солодко, а все ж не очень пугали. Нынче, после двенадцатого года, дескать, ма-ленько полегшало... Царь-де батюшка после разорения великого от нашествия двенадцати языков повелел, слышно, народ-то беречь. Ан не тут-то было. Как до француза терпели, так, видать, будем и дале...

От лица Митрия отхлынула кровь.

— Не бывать тому! Не дамся я им! Светелки огнем пожгу, а сам — в лес.

Лапин задрожал от испуга.

— Как можно такие слова! Не дай бог, услышат, — живым в землю зарюют.

— А мне наплевать, — отрезал Петров и прильнул к уху товарища. — Побей бог, убегу. С тем и пришел. Бежим вместе, Игнатка.

Лицо Лапина оживилось, посветлело. Перед зачарованным взором его смутно маячили никогда не виданные далекие города, Волга.

— Где ты только наслышался про такое? — словно проснувшись от чудесного сна, спросил Игнат, когда Митрий умолк.

— Пришлый один говорил. Ой же и бывалый старик! Огонь и воду превзошел...

Всю ночь Лапин провел в диковинных грезах. И до самого рассвета не сходило с улыбочатых уст его благословенное слово — «воля».

Глава III

Игнат не зря так испугался, когда Петров в отчаянии пригрозил сжечь хозяйскую фабрику. Расстрига-священник, едва увидев через окно Митрия,

немедленно пробрался тайком в коровник и подслушал всю беседу товарищей.

С тех пор Игнату не стало житья. К нему начали немилосердно придирааться, запретили обедать в одно время с рабочими, кормили объедками и то и дело потчевали зуботычинами.

Особенно жесток был с ним его погодок, хозяйский сын Афоня. От него проходу не было Лапину. Кто бы ни провинился в светелке, за всех держал ответ Игнат. Афоня ставил ему в строку каждое лыко и то и дело бегал к отцу с жалобой на кабального.

— Дармоед! — ревел молодой Кураев. — Двадцать рублей в год получаешь, а штрафов на тебя записано уже за два года вперед. Не дадим больше жрать! Сам кормись, с квартиры погоним!

Однажды зимой, в праздничный день, Лапина вызвали к хозяину.

Кабальный был поражен, когда Яков Якимович, вместо того чтобы ругаться, ласково потрепал его по щеке и указал глазами на лавку.

— Садись, садись, Игнашка. Чего пнем стоишь! Садись и расскажи ты мне, как родному отцу... как бы сказать... как там, у вас?

— Где, Яков Якимов?

— Ты не лукавь. Не люблю. Я с тобой как с сыном. Я ведь все знаю. Расскажи, кто подбивает вас с Митькой к поджогу?

Игнат вспыхнул.

— Ей-богу, никто. Да и разговор-то у нас был так себе, ни к чему.

— Ой ли, Игнашка?

— Ей-богу, Яков Якимов.

Хозяин постучал кулаком в дверь. В горницу вошел расстрига.

— Отшибло память у парня.

Священник неодобрительно покачал головой.

— Ай-ай-ай! Не ждал я, чадо мое. Перед кем запираешься? Перед благодетелем своим запираешься. Отверзи уста и покайся.

Кабальный потупился и молчал.

— Припомни ему, отец Никанор! — крикнул выведенный из терпения Кураев.

— Чего тут припоминать? Огнем пожечь собирается, — все так же сокрушенно завздыхал поп. — Митька — Ефима Иванова, а Игнашка — тебя, благодетеля своего. Пожечь умыслили, казну ограбить и в лес.

— Да побойся бога, отец Никанор! Да как не грех...

— Ну, ты! — топнул Кураев. — Попридержи-ка язык! — Но тут же смягчился. — Жалко мне тебя, паренек. Пропадешь ты с Митькою ни за грош.

— Воистину так, — перекрестился расстрига. — Ибо сказано: «Уйди от зла и сотвори благо...» И еще речено: «Благословен муж, иже не идет на совет нечестивых и на пути грешных не ста».

Игнат только пожимал недоуменно плечами и повторял одно и то же:

— Никакого сговору не было... И в думках не держал ничего.

— Так вот ты каков?! Так и пришлого не знаешь, который подбивал Митьку поджечь нас с Грановым? — рассвирепел Кураев. — Ладно же, ежели так, нету тебе больше у меня ни харчей, ни квартиры. Вон с глаз моих!

Лапин бочком вышел из горницы и, захватив в клетушке свой узелок, направился за ворота.

Стоял крещенский мороз. Заунывно и зло выл северный ветер. Несметными роями странных бе-

лых пчел кружился в воздухе, жалил, обжигал лицо снег.

Игнат зябко кутался в продранный зипунишко, непрестанно пританцовывал и шел наугад.

Так очутился он на главной улице, по обочинам которой толпился народ.

По дороге, щеголяя друг перед другом кровными рысаками, катались в санях фабриканты.

— Гляди-ко, гляди! — увлеченно прищелкивал языком какой-то бородач в зипуне нараспашку. — Только Гонурову и подстать таких лошадок водить!

— Ну да, Гонурову! Тоже, в святцы не поглядев, в колокол бухает! Всяк ребенок скажет тебе, что это ярановские рысаки.

— Э, брат, — не сдавался первый, — далеко кулику до Петрова дня! Об заклад бьюсь — гонуровские. Ишь, несутся! Что твой Илья-пророк в огненной колеснице.

Игнат незаметно для себя тоже увлекся и, позабыв про стужу, с разинутым ртом следил за катающимися фабрикантами.

Внезапно его кто-то больно ударил кулаком по спине. Он резко повернулся, готовый вступить в рукопашную, и... расплылся в доброй улыбке.

— Митяй, здорово!

— Давно тут?

— Да только что. А и студено! — вновь почувствовав холод, лязгнул зубами Игнат. — Погреться бы малость.

Петров увел друга в кабак. В полной народом избе Ланина обдало мутящим духом сивухи и едким человеческим потом.

— Грейся, — поднес Митрий товарищу стаканчик вина. — Не сумлевайся, уплочено.

На заплеванном полу, под столами, валялись

пьяные. Вихрилась, переплетаясь с замысловатою руганью, безобразная песня. Кто-то, уткнувшись лицом в миску, горько плакал и причитал.

Друзья просидели в кабаке до тех пор, пока вместе с воем метели в дверь не ворвался вечерний благовест.

Чуть захмелевший Петров привстал.

— Говоришь, без жилья?

— Выходит так, Митрий.

— Ну, и как?

— И сам не знаю.

— Значит, придется нам потесниться. Пойдешь ко мне на квартиру?

— Как не пойти!

Они отправились вниз по Кабацкой. Улицы заметно пустели. Лишь кое-где, в полумраке, мелькали суетливые тени. Метелица то притихала, то еще ожесточенней обрушивалась на поскрипывающие избенки.

При дороге, обняв заиндевелую березу, скулил какой-то мелкорослый, щупленький мужичонка.

— Кого отпеваешь? — ухватил его за рукав Митрий. — Смотри, себя бы не схоронил тут. Замерзнешь.

Мужичонка растопырил руки, свернувшаяся ледяной сосулькой борода ткнулась бессильно Петрову в грудь.

— Давай, сынок, поцелуемся!

— Ишь ты, целовальщик нашелся, — рассмеялся Митрий. — Ты скажи лучше, где живешь?

Пьяненький оттолкнул Митрия и полез с объятиями к Игнату, но потерял равновесие и шлепнулся лицом в сугроб.

— Родименькие мои! Лопушочки сердечные!

Слышите? Вон они, соловьи наши, какво заливаются!

— Бери его за ноги! — распорядился Петров. — Ежели до зеленого змия упился, видно, помирать ему тут. Ишь его, на святках соловья услышал!

— А вы послушайте! — уже кричал благим матом мужичонка, тщетно стремясь вырваться из рук Петрова и Лапина. — Послушайте наших кровных соловушек... Челночки-то наши какво заливаются!

Кабальные унесли барахтавшегося мужичка в ближайшую избу, сдали его хозяевам и отправились дальше.

— А вот и наши хоромы, — объявил Петров, останавливаясь перед завьюженной хибаркой.

Жилье, куда вошли земляки, состояло из передней избы, сеней и задней горницы. В передней избе, наполовину занятой печью, стоявшей на перекладах, жили хозяин с женой, трое ребят их, бабка и с полдесятка постояльцев. В углу, до самого потолка, висела горка укладок. У окна помещался ткацкий стан. Под ним мирно похрюкивал со сна поросенок. Чуть высунувшись из-под печи, спал, спрятав голову под крыло, пестрый петух.

— Постояльца привел, — сказал Митрий. — Земляком мне доводится.

— Его только и дожидались, — захорохорилась хозяйка. — А я-то печалилась, горевала, — что это, мол, пестренький в одиночестве? Не иначе под печкой место свободное.

Но Игнату помогли сами жильцы.

— Пар костей не ломит, Терентьевна, — весело промолвил один. — Вали сюда, теплей будет.

Лапин примостился кое-как между Митрием и каким-то пожилым человеком.

За окном бушевала непогода. Изредка к ее сте-

наньям примешивался гул набатного колокола, — то сторож подавал весточку заблудившимся в поле путникам.

Село безмолвствовало. Ни человеческого голоса, ни дымка, ни собачьего лая...

В полночь Терентьевна слезла с печи, помолилась на образ и осторожно зашагала через спавших постояльцев к ткацкому стану. При неверном свете лучины чудилось, будто лицо женщины то расплывается, то стынет в мертвой улыбке, то мучительно дергается, словно бы подпрыгивает от неслышных рыданий.

Женщину одолевал сон. Спертый избяной дух липкими комьями забивал горло и грудь. С каждой минутой голова все непослушней клонилась к острому, чуть приподнятому плечу. Назойливо, одно-тонно, уныло, нечастыми капельками осеннего дождя постукивали ивановские соловьи — челноки. В воздухе клубилась, выедавая глаза, мохнатая пыль.

Ткачиха, чтобы превозмочь дремоту, пыталась затянуть песню, но слова вскоре спутались, как бы потускнели, переходили в тягучие вздохи, пока наконец не вытеснил их вовсе сухой, царапающий грудь, кашель...

Так было в Иванове вчера, тому назад месяц, год, десятки годов. Таких ночей много будет еще впереди. Глухих, черных ночей. Угрюмое небо выльет на землю все осенние слезы, метели отпоют свои страшные песни, зазеленеет и отжелтеет земля, а челнок все так же безумолчно и безразлично будет отщелкивать минуты, часы, месяцы, годы и так же непрестанно, до той самой поры, пока держат ноги, будет бодрствовать ткачиха у своей каторжной тачки — ткацкого стана...

Проклятые ивановские соловьи! Без конца-края

они отщелкивают одно и то же беспощадное, беспощаднее смерти, позорное слово: «Неволя... Неволя... Неволя...»

В семьях ивановских бедняков никто не сидел сложа руки. Работали все: и старухи, и молодые, и малые дети. Они ткали пряжу на фабрикантов средней руки, у которых всегда были в неоплатном долгу.

Еще было темно, когда Терентьевна разбудила своих семейных и постояльцев.

Игнат испуганно огляделся, но, увидев Митрия, сразу вспомнил, где находится, и торопливо поднялся.

На стане кучками лежали ломтики черного хлеба и во всех видах редька.

Петров успел уже договориться с хозяйкой о месячной цене за «лапинские харчи» и потому смело обратился к товарищу:

— Не робь, Игнашка, круши! Гляди, сколь добра: редька-триха, редька-ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька с таким, — ешь, не хочу!

Рабочие, на ходу дожевывая куски, высыпали на улицу.

Едва Игнат вошел в светелку, Михеич с размаху ударил его по щеке.

— С полчаса дожидаясь, а ты, сучье отродье, и в ус не дуешь себе?! Я тебе покажу, как на работу опаздывать!

Рабочие и подручные бросились к своим местам, наполнили штрифовальные круги густым, как березовый сок, крахмалом, покрыли круги клеенкой и сукном.

Затокали чокмари. Лениво пополз по вешалам миткаль.

Не прошло и часа, как светелка вновь пропиталась насквозь немного выветрившимся за ночь, разъедающим легкие погибельным духом ртути, мышьяка, металлической окиси.

Рабочий день был в полном разгаре.

Глава IV

В праздничные дни пришлые, а с ними не мало ивановцев, любили собираться в лесу. Оборванные, грязные, голодные люди в-открытую ругали фабрикантов, жаловались друг другу на нищету, грозили кому-то.

Так шумели они долгими часами, то стихая, то еще более ожесточаясь, до тех пор, пока, прокляв все на свете, отправлялись в кабак пропивать последний свой грош.

Выпившие окончательно смелели, вступали в перебранку с прохожими, внезапно нивесть откуда в ворота фабрикантов летели камни и снежные комья.

Рабочих боялись трогать, когда они двигались толпой. Но едва они начинали расходиться по своим углам, их тотчас же хватили по одному и волокли на расправу в черную избу приказа.

Игнату и Митрию очень полюбились эти лесные сходки.

— Так бы в лесу навек и остаться, — говорил обыкновенно Петров товарищу. — Выбрать бы логово, где поглуше, и жить себе вольною птахою.

— А кормиться чем? — неизменно спрашивал Лапин.

— Вот еще забота какая! Живы будем, прокормимся.

— А все же боязно, Митрий. Не приведи бог, изловят, три шкуры спустят.

Однажды, изрядно вышив, земляки случайно встретили на улице кураевского мастера.

— Нешто сквитаться? — ухарски подбоченился Игнат. — Воздать ему, что ли, за его богатые милости? — И, преисполненный задора, зашагал, пошатываясь, к старшему. — Здорово, Михеич! Окажи милость, получи с меня долг.

— Проваливай своею дорогой, пьяное рыло!

— Ах, так ты вот как! — крикнул Лашин и размахнулся с плеча. — На-кось, держи!

Михеич неожиданно пригнулся и ударил кабального головой под живот. Он проделал это так стремительно, что Петров не успел опомниться, как приятель его лежал уже на снегу, а тень мастера мелькнула в воротах соседнего дома.

— погоди же! — заревел вскочивший Игнат. — Все равно изничтожу! Пожгу окаянных!

Кураев пришел в неистовство, когда мастер рассказал о нападении кабального.

— Со мной что станется, Яков Якимов! — вздохнул Михеич. — Мне не это в кручину. А вот, что пожечь собирается, об этом подумать надо, Яков Якимов. «Пожгу, — говорит, — а хозяина вместе с сыном его на осине повешу».

— Так и сказал? — всплеснул руками Кураев.

— Истинный крест.

— Добро же! Покажу я ему, какая такая осина есть! Узнает он, как тягаться с Кураевым.

Как только отец Никанор составил жалобу, скуп-

щик приказал запрячь лошадь и поехал на Мельничную, в приказ, к судье.

Приказ был о двух этажах. В первом помещались архив вотчинных дел и черная, куда сажали арестованных крестьян; второй предназначался для заседаний вотчинного и волостного правлений и для мирских сходов. Тут же была и судейская или, как ее называли еще, прихожая.

Выслушав Кураева, судья приказал немедленно схватить Лапина и посадить в черную.

На другой день был созван сход.

Фабриканты уселись за одним столом с судьей, а остальные, кто победнее и попроще, заполнили комнату и сенную.

Старший земский приступил к чтению жалобы. Не успел он произнести первые слова, как фабриканты взволнованно зашумели.

— До чего же дошло?!

— Бунт!

— Волю-то взяли какую?!

— Каково распустились, бессовестные!

Стоявшие в комнате и сенной угрюмо молчали.

Когда кончилось чтение протокола, в судейскую привели полураздетого Игната. Лицо его разбухло от побоев, глаза заплыли, из рассеченной губы сочилась кровь. Руки были скованы железными поручнями. Ноги путались в деревянных колодках.

Увидев кабального, Кураев с ожесточением стукнул кулаком по столу.

— Так-то ты за хлеб-соль мою отдал?! Вор! Нехристь! Разбойник!

В задних рядах послышался сдержанный гул. Кто-то негромко выругался, кто-то зло рассмеялся.

— Сразу видать благодетелей наших!..

— Крест медный, и тот норовят с шеи содрать!

Судья строго поглядел на бедняков. В сенной стало тише.

— Что же молчишь? — обратился выборный к арестованному.

Лапин хотел развести руками, — поручни больно врезались в тело.

— Во хмелю был... А насчет мастера, каюсь, и впрямь покушался...

— О мастере после, — перебил судья. — Ты про поджог расскажи, с кем затеял хозяина сжечь?

— Какой поджог?

— Ну, ну, прикидывайся дохлой лисой! Говори, покуда я щипцами слова из горла не повытаскивал.

— Воля ваша, — поклонился Лапин, — а только ни ухом, ни рылом я.

Земский хлопнул в ладоши. В ту же минуту ввели Петрова.

— Был вчера с этим? — спросил у Митрия судья и указал глазами на колодника.

— Был.

— Ну, говори.

— И говорю: был.

— Видал, как они с мастером дрались?

— Какое уж дрались! Мастер Игнашку побил.

— А что Игнашка сулил?

— Не упомяну. Больно во хмелю оба были.

Судья встал из-за стола и повертел кулаком перед носом Петрова.

— А коли виляешь, значит, оба — два, выходит, поджечь хотели.

— Что это вы? Зачем поджигать? Нешто можно такими делами заниматься?

Сколько ни бились с Митрием, как ни запугивали, он оставался верным себе и так и не выдал товарища.

Выведенный из терпенья судья прогнал Петрова и подал знак десятскому.

Тот исчез и сейчас же вернулся с пучком березовых розог в одной руке и с ведром густо посоленной воды в другой.

— Ну-те, дай бог памяти, — ухмыльнулся земский. — Припомни до березовой кашки, как дело было.

Игнат, стиснув зубы, молчал.

— Добром прошу... Слышишь? Пожалей спину свою...

Игнат молчал.

— Ах, так! — притопнул земский. — Так врешь же! Развяжешь язык! Бей его!

Прутья взвизгнули, хлестко легли на дрогнувшую голую спину колодника.

— Нету вины моей! — не выдержав боли, закричал Игнат. — Не хотел поджигать... Верьте, добрые люди.

— Верю всякому зверю, и ежу, а тебе погожу, — зарычал судья. — Ну-ка, Гришка, поддай!

Десятский поплевал на руки, смочил прутья в воде и потряхнул ими в воздухе.

— Раз! — прищелкнул пальцами земский. — Еще раз! Так его! Хлеще!

Из сеней снова донесся плохо сдерживаемый ропот. Толпа придвинулась ближе, ввалилась в судейскую.

— За что измываетесь над человеком? Может, парень и впрямь не виноват ни в чем!

Бураев грозно поглядел на стоявших в первом ряду рабочих, но, встретив их полные ненависти взгляды, сразу осел.

«Такие и доподлинно не дорого возьмут — по-

жгут, — тревожно мелькнуло в мозгу. — От них, пожалуй, дождешься».

С каждой минутой лицо его все более мрачнело, он уже начинал жалеть, что затеял весь этот шум.

— Кузьмич, а Кузьмич, — чуть слышно шепнул он старшему земскому и поманил его пальцем.

Земский сейчас же пересел к фабриканту.

— И мне сдается — не ладно выходит, — забормотал земский на ухо Кураеву, догадываясь, о чем тот хочет с ним говорить. — Уж больно их много тут собралось, как бы с цепи не сорвались.

— Вот и я про то же, Кузьмич. Ишь, как их разбирает... Да и ежели по чести, жалко парня терять, работник отменный. Где такого найдешь по нынешним временам?

— Да уж это доподлинно, Яков Якимов... Сколько народу от одной чумы повымирало, не счесть. А там и француз пришел, тоже уймище народу извел... А намедни графский управитель вычитывал: дескать, за тринадцать годов, с восемьсот четвертого, значит, по сие лето, только и выдался один урожайный — восемьсот то есть семнадцатый... Вон оно какие дела. Нет, ты уж лучше уважь...

— И то, Кузьмич, нешто уважить? Не дразнить их до времени?

— Уважь, Яков Якимов. Уважь, не дразни.

Яков Якимович решительно поднялся.

— Земляки! — вырвалось у него со стоном. — Может, я и не так говорю, так вы уж... как бы сказать... не взыщите... Однако я так полагаю... Людей жалеть надо, как Христос велел... Вот! И кто разберет тут? Может, и впрямь невиновен... Бог ему да будет судьей... Вон оно как... Да... Одним словом, прощаю кабального.

Пораженный колодник так воззрился на хозяина, как будто перед ним стоял не обыкновенный смертный, а посланник небес.

«Так-то оно лучше будет», — не без удовольствия подумал Кураев и, усаживаясь, многозначительно переглянулся с судьей.

— А по-божески, так по-божески, — понимающе улыбнулся судья. — Боли так, так так. И мы крест на шею носим. Иди, Игнашка, да моли бога до гроба за великую хозяйскую милость, за херувимское сердце его.

Кабальный сделал шаг, но внезапно зашатался и упал без чувств на пол.

С того дня Яков Якимович потерял покой. Да и как тут было не тревожиться? Сколько лет стремился Кураев завести вместо светелок настоящую фабрику, и вдруг на тебе: все добро может быть уничтожено огнем за какой-нибудь час. Что, если кабальный и в самом деле не шутит? И зачем только затеяна свара? Не лучше ли было действовать лаской с Игнатом, как поступал Кураев всегда? Вот уж, поистине, не было печали, так черти накачали.

Боязнь поджога так напугала скупщика, что он перестал даже ездить по ярмаркам. А мастеру был отдан строгий приказ «оставить былые повадки и отнюдь не дразнить Игната».

Но Яков Якимович тревожился понапрасну. Арест, пытки и страх перед Сибирью до того подействовали на кабального, что он стал совершенно другим человеком.

«Нечистый его разберет, — пожимал плечами Кураев, — что у него на уме. Что-то больно притих.

Как бы в овечьей шкуре да волк, не... как бы сказать...»

И еще с большим усердием оказывал Лапину всякие знаки внимания.

Как-то мастер поразил всю набойную. Похлопав Игната дружески по плечу, он торжественно объявил:

— А с тебя причитается. Нечего, ставь мого-рыч! Теперь ты у нас не мала птица, набойщик теперь ты. Три рубли будешь получать теперь в месяц.

Слова старшего были до того необычайны для кабальных людей, что Лапин принял их за злую шутку.

— Что же не кланяешься?

— Да нешто можно такому поверить?

— А на кой ты мне сдался, чтобы смеяться? Становись-ка работать.

— Да неужто правда? — расцвел кабальный.

— Фу, Фома неверный! Говорю, становись за набойщика!

Рой самых радужных думок вскружил кабальному голову. Ну, теперь он покажет себя. Он так будет работать, что Яков Якимович не нарадуется. Да ежели Игнат понатужится, он в два счета кого угодно за пояс заткнет, самого даже Михеича. Ого! Дайте только срок, и такие дела пойдут, все поразинут рты от удивленья.

Заметив пристальный взгляд мастера, кабальный заискивающе осклабился и отвесил низкий поклон.

— Скажи Якову Якимову, по гроб жизни не забудет Игнашка его милости. — И тотчас же усердно завозился у штрифовального круга.

Лапин ушел с работы с высоко поднятой голо-

вой. Никогда еще он не испытывал такой бурной и гордой радости, как в тот памятный день.

Дул южный ветер. Снег осел, в колеях кое-где показалась вода, над Уводью с карканьем низко пролетела воронья стая. «К снежку, — подумал Игнат и улыбнулся. — А может, и к дождичку».

С фабрик, поеживаясь от сырости, торопливо шагали рабочие. На перекрестке, у колодца, перешучивались и заразительно смеялись девушки.

— Погляди-ко, — показала одна из них рукой на Игната. — Рыжий-то нос как задрал. Прямо тебе не кабальный подручный, а набойщик, не меньше.

Лапин прищелкнул языком.

— Не похож, что ли, на набойщика я?

— Мاستью не вышел. Конопатый больно да рыжий. Ха-ха-ха-ха!

Одним прыжком кабальный очутился возле девушки, подхватил ведра и побежал к ее дому.

— Тпрр! Погоди, всю воду расплескал!

Остановившись у двери избы, Лапин опустил ведра на снег и мотнул головой.

— А ведь ты угадала, Ариша. Я набойщик и есть.

— Да ну?

Кабальный важно надулся.

— Вот те и тпрру. При всем народе Михеич нынче сказал. И то, — где таких работников сыщешь, как я? У меня все так и кипит, так и ходит.

Чуть раскосые серые глаза девушки насмешливо скользнули по узкому лицу парня.

— Ишь, расхвастался!

Игнат обнял Аришу и чмокнул ее в лоб. Она резко вырвалась и ткнула его кулаком в грудь.

— Незамай!

— А не то?

— А не то так огрею, век не очухаешься.

К ним направлялся показавшийся из-за угла Петров. Заметив его, девушка вся так и зарделась.

— Приходи нынче к нам, слышь, Митя? — крикнула она и скрылась в избенке.

Глава V

В праздник в домике одного из знакомых набойщиков Игнат по случаю своего повышения устроил пирушку.

Первым явился отец Ариши, старый ткач Демидыч. Переступив порог, он низко поклонился иконам.

Хозяин встал, обменялся приветствием с гостем и усадил его на лавку в дальнем углу.

Горничка быстро наполнялась людьми. Женщины и девушки разместились за отдельным столом, на котором высились горки орехов, пряников и стояли кувшины с брагой.

Когда пришел Митрий, хозяин, по настоятельной просьбе Лапина, нарушил строгий обычай и усадил его на почетном месте среди славившихся кое-какими достоинствами «солидных» ивановцев.

— Что же это Михеич не идет? — то и дело спрашивал Игнат и с беспокойством обращал свой взгляд к оконцу.

— Придет, — успокаивал Митрий. — Чего-чего, а уж тут будь покоен. Не упустит Михеич твоей дармовщинки.

Хозяин зло поглядывал на Петрова, но не решился остановить его, — он хорошо знал, что кабалый не даст спуска и чуть что — затеет ссору.

Наконец Игнат просиял, — в горницу вошел Михеич.

— Хозяину с хозяйюшкой доброго здравья, — пробасил он, перекрестясь. — А вам всем мир в беседе и мы в вашу беседу.

— Добро пожаловать! — вслед за хозяином повторил с поклоном Лапин и рукавом вытер струившийся с лица пот.

Митрий недружелюбно взглянул на земляка. «Ишь его, лебезит как! — подумал он. — Даже взопрел от усердия».

Но Лапин ничего не замечал, — все внимание он сосредоточил исключительно на одном мастере.

— Как бог милует, Михеич? — спросил он, подобострастно суетясь возле старшего и усаживая его в красном углу.

— Живем, хлеб жуем, — степенно произнес мастер. — Бог грехам терпит.

Все замолчали. Слышно было лишь густое сопенье Михеича и уютное потрескиванье лучины.

Хозяин незаметно подтолкнул локтем Игната и подал ему бутылку с вином.

Лапин налил всем по чарке и поклонился.

— Гости милые! — произнес он торжественно. — У меня ноги с подходом, руки с подносом, сердце с покором и голова с низким поклоном. — И склонился перед мастером. — Прошу откусать во славу божью.

Михеич приветливо кивнул Игнату, но обычай выдержал и выпил, только когда кабальный трижды поклонился ему.

— А теперь за нашего благодетеля, — предложил Лапин, — за Якова Якимова испить прошу.

Ариша переглянулась с Митрием и, к ужасу матери, взяла со стола стаканчик.

— А девок почто забыл? Наливай хоть ты девкам, Митрий.

Петров потрянул кудрями.

— Бог это по-нашенски! Кто со мной тяпнет за девок да еще за всех, кто без роду, без племени?

Лапин недовольно причмокнул.

— Или чин рушим? — рассмеялся Митрий. — А коли так, можем и за благодетеля твоего ухнуть.

— Ну, ты! — окрысился мастер. — Я тебе ухну. Ты слова-то подбирай, когда почтенных людей поминаешь.

— Куда уж нам! — притворно вздохнул Митрий. — Мы народ темный. А что касаясь подходящих слов, так на то у нас Игнашка имеется. Ну-ка, Игнашка, бей хвостом. Ты этому делу, я вижу, здорово научился.

Все насторожились. Мастер разгневанно поднялся из-за стола.

— Прощенья просим, пора.

И, чванно выставив брюшко, направился к выходу.

За ним вскоре ушли и другие гости.

Утром, против установившейся привычки, Петров ушел на работу один, не дожидаясь товарища. Домой он вернулся поздно и, наскоро похлебавшей, тотчас же улегся на новом месте, в другом конце от Игната.

День за днем друзья Лапина все заметнее начинали чураться его.

Кабальный недоумевал. «За что они осерчали? — размышлял он. — Неужто за то, что меня хозяин приветил?»

Кураев был очень доволен кабальным. Он часто вызывал его к себе, подолгу дружески беседовал с ним, усиленно потчевал, дарил поношенную одежду, а однажды так расщедрился, что дал Лапину для пересылки родителям полтину денег.

Прощаясь с набойщиком, скупщик любил повторять:

— Ты, Игнаша... как бы сказать... ты товарищей не чурайся. Живи со всемі, как бог велел: в тихости, в дружбе.

Чтобы сделать приятное хозяину, Лапин всеми силами стремился вернуть былое расположение друзей, особенно Митрия.

Как-то в праздник он зашел в кабаk и, увидев Петрова, решительно подсел к нему.

Земляк долго хмурился, на вопросы отвечал нехотя, почти грубо, но в конце концов не сдержался и сказал правду:

— Хочешь быть мастером, — будь. Не зазорно. Кичиться стал, — чорт с тобой. Кичись, коли ума недохватка. Хвостом бьешь, — бей, не жалко. Ну, а то, что люди говорят, будто ты в языках у хозяина ходишь...

— Что-о?! — отпрянул Игнат. — Да за такие слова...

И, не помня себя от обиды, ударил Митрия кулаком по лицу.

— Не трожьте! — заревел Петров на товарищей, ринувшихся к нему на подмогу, и протянул набойщику руки. — Прости, Игнашка. Вижу теперь: врут люди, возводят поклеп на тебя...

Узнав о стычке земляков, Кураев вызвал к себе Лапина.

— За что это ты Митьку обидел?

Набойщик потупился.

— Языком обозвал. Я не стерпел...

— Ай-яй-яй! — посочувствовал Яков Якимович. —

И выдумают же злые люди!

Кураев прошелся по горнице, побарабанил пальцами по переплету окна и раздумчиво вымолвил:

— Чтобы не было таких разговоров, будем мы с тобой вроде бы не в ладах. Ты не сумлевайся, так, для людей только.

С того дня мастер стал строже относиться к Игнату, часто придирался к нему, а сам Кураев, когда заходил в набойную, придирался к каждому случаю, чтобы обругать набойщика за плохую работу. Так же держался с Лапиным и Афоня.

— Вот тебе и поклоны твои, — злорадствовали рабочие. — Придется, видно, на коленках стоять перед хозяином. Авось, поболеет.

Но в насмешках уже не чувствовалось бывшего презрения.

Подобрел к Игнату и Митрий. Они снова, как это бывало раньше, заходили предпраздничными вечерами к кому-нибудь на квартиру и до полуночи болтали о разных разностях или слушали рассказы пришлых людей.

Однажды они чуть не рассорились с одним пришлым, до того неправдоподобной показалась им его «байка».

— Ты что же, — разгоряченно махал руками Петров, — ребенком меня считаешь, что такие небылицы плетешь? Дураки, что ли, люди, что с голыми руками на солдат походом пошли?

— Вот, ей-богу, истинный крест, — побожился пришлый. — Весь город, милые мои, в таком был смятеньи, уж в таком смятеньи был, братцы мои, что ух ты! — каковскую жару на бар нагнало. А что народу того царевы солдаты побили, — страсти! Инда и сейчас в груди студено. Вот вам крест, — перед иконой скажу.

Лицо Митрия перекошилось. Он лязгнул зубами и сжал кулаки.

— Я бы им перебил, душегубам! Все пожег бы, а сам в лес, — ищи ветра в поле.

— Видали такого? — улыбнулся пришлый. — Ух ты, Егорий храбрый выискался какой! Я-ста, да мы-ста... А тут нешто лучше у вас? Не бьют здесь, браточки мои, смертным боем да не морят ли голодом? Ты вникни, миленок мой. Вникни. Фабрик-то сколько вокруг. Ух ты, весело каково красному-то петушку тут летать!

Игнат оторопел от таких мятежных слов.

— Итти, — произнес он упавшим голосом и сунулся к двери. — Пошли, что ли, Митрий...

С тех пор Лапин начал избегать пришлых.

Едва по-настоящему пригрело солнце, Игнат и Митрий в первое же воскресенье отправились за село.

Широкий простор, волнующий запах весны, трогательно-нежные, как улыбка ребенка, первые хрупкие всходы, неумолчный птичий щебет, купающиеся в прозрачном небе стайки бледнорозовых облачков навевали тихую грусть, будили далекие, давно позабытые воспоминанья. Вот так бы; не обмениваясь друг с другом ни словом, итти куда-то вперед, все вперед, навстречу юному солнцу, в царство весенних, ласкающих грез.

Долго, до самой вечерней зари, товарищи пробыли в поле, пока наконец вспомнили, что пора возвращаться домой.

Первым заговорил Игнат.

— А помнишь, Митька, какой я тогда сделал скворешник? Резной, с белясинками, с помостом. Ох, и хорошо же было у нас в Березовке! Сейчас, должно, и скворцы уже прилетели...

Он сложил руки крестом на груди и сиротливо вздохнул.

— Птица, и та домок свой имеет... А мы с тобой... Эх, Митька, и горько же!

Петров неожиданно резко сорвал с себя картуз и с ожесточением бросил его на землю.

— А коли нету дома у нас, не пойдем назад!

— Не пойдешь, — приведут, — безнадежно возразил Лапин. — Куда уйдешь от неволи?

— Куда, куда! Кудакало! В лес, вот куда! Мало ли беглых там!

— А потом что?

— Там видно будет.

— Поймают, Митька, три шкуры спустят.

— А я им за эту милость да красного петушка. Ну, бежим, что ли?

— Боюсь...

— А боишься, — прощай! — крикнул Митрий и со всех ног бросился в сторону леса.

Лапин хотел было побежать за товарищем, но вдруг испуганно вобрал голову в плечи и торопливо зашагал в сторону села.

Дома на вопрос квартирного хозяина, куда пропастился Петров, набойщик только пожал плечами и ничего не ответил.

Митрий не вернулся в Иваново ни на другой день, ни позже.

Гранов заявил в приказ о бегстве кабального. Земский снарядил погоню.

Но поиски ни к чему не привели, — Петрова и след простыл.

Вскоре в приказ начали поступать жалобы о бегстве кабальных и от других фабрикантов.

— Ну и времена пошли, — сетовал судья. —

Что ни день бегут. Одни бегут, другие повадись скопом ходить. Не знаю, что и делать.

На селе и впрямь чувствовалось что-то неладное. Люди заметно осмелели, они уже не кланялись в пояс, выпрашивая работы, а часто целыми толпами шли с угрозами к домам фабрикантов.

У дворов купчин и за околицей появились дозорные. Судья и земский потеряли покой. Черная была полна арестованных.

Но чем суровее расправлялись с ищущими куска хлеба людьми, тем они становились отчаяннее и тем настойчивей повторялось во всех углах недоброе слово — пожар.

Так в тревоге прошло два с лишним месяца, пока люди, наконец, понемногу угомонились.

Фабриканты свободнее вздохнули.

— То-то же, — ухмылялись одни. — Узнали, как бунтовать. Небось, в черной три шкуры спустили.

— А их ежели не сечь, — солидно замечали другие, — они и вовсе облик человеческий потеряют. Пускай почешутся малость, для них кнут вот как пользителен.

Все как будто входило в свою колею.

И вдруг, когда никто этого не ожидал, нивесть откуда нагрянула беда.

Было воскресенье. Народ возвращался от обедни домой. Над избами мирно клубились дымки. Там и здесь, на завалинках, грелись старики. За огородами и на пыльной дороге ребятишки играли в бабки и городки. У колодцев, погромыхивая ведрами, перешучивались девушки. Чуть покачивая бедрами, с коромыслом через плечо, понуро шагала к своей избенке недавно просватанная за Игната Ариша.

Увидев из оконца невесту, Лапин вышел на

крылечко встретить ее. На нем были новенькая, в желтых горошинах, ситцевая рубаха и хромовые, солидно поскрипывающие, сапоги.

— Дай помогу.

— Самой не трудно, — сухо отозвалась Ариша и зло поглядела на самодовольное лицо жениха.

— Ну, вот и осерчала уже. Я ведь жалеючи.

— Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву...

Где-то, со стороны погоста, слышалось раздумчивое треньканье балалайки. В ближней избе голосил чей-то ребенок. Посреди улицы, в луже, копошилась свинья...

Но что это? Почему угасающий благовест так всполошился внезапно и захлебнулся суматошливым набатным гулом?

И так же внезапно раздался отчаянный крик: — Спасите! Горим!

Вдалеке, там, где стояли фабричные светелки Гранова, вспыхнуло зарево.

— Спасите! Добрые люди! Пожар!

Все смешалось в крике, воплях, в смятенье, в надрывном набате.

В тот день выгорело около половины всех фабричных светелок...

Поутру пронесся слух, что в Иваново привезли изловленного в лесу Митрия.

В тот же час все село, от мала до велика, сбегалось к приказу, чтобы хоть одним глазком взглянуть на «разбойничка».

Мельничная улица, Приказный переулок, Базарная площадь и двор Крестовоздвиженской церкви были полны любопытными.

У крохотного оконца черной выстроился долгий черед. В каморке стояла какая-то истерзанная ста-

руха. Протянув руки к оконцу, она, не переставая, повторяла одни и те же слова:

— Подайте, христа-ради, бедным и невольным заключенникам... Подайте несчастеньким, христа-ради...

Седые липкие волосы падали на распухшее, в кровоподтеках, лицо, скрюченные пальцы то распрямлялись, то судорожно сжимались в кулак, мутный, как бы безразличный ко всему взгляд был устремлен куда-то поверх голов в пустоту, и так же безразлично звучал старческий, надтреснутый голос:

— Подайте, христа-ради, бедным и невольным заключенникам... Подайте несчастеньким, христа-ради...

В углу, на охапке прелой соломы, беспокойно спал Митрий.

Около полудня в черную пришел судья.

— Где был? — крикнул он и больно пнул колодника в грудь носком сапога.

Петров поморщился от боли, но не проронил ни звука.

— Онемел, сучий сын?

— Онемеешь, когда тебя не словами, а сапогом спрашивают.

— Ну, ты! — окончательно разъярился судья и схватил узника за ворот. — Душу вытряхну! Говори!

— Где же я был? — сразу переходя на спокойный тон, произнес Петров. — Известно, в бегах.

— Прикидывайся у меня дураком! Я тебя, дьявола, заставлю говорить человеческими словами! Я из тебя живо лисьи увертки повыколочу! Говори, с кем село поджигал!

Митрий сделал вид, что его ошеломил этот вопрос.

— Поджигал? Эко слово какое! Да неужто горело село?

— Бей его! — бросившись к сторожу, заревел судья. — Крути ему руки! В зубы бей! В зубы!

Колодника пытали до вечера, стремясь вырвать признание. Но на вопросы он либо отделивался полным неведением, либо, судорожно стиснув зубы, молчал.

На следующее утро повторилась та же самая пытка.

Через неделю, ничего не добившись от узника, его, едва живого от побоев, снова отдали во власть Гранова.

Неспокойным стало село. Редкий смельчак отваживался показываться ночью на улице. То и дело во тьме слышались подозрительный свист, крики о помощи. Изредка вспыхивали пожары.

Шереметевский управитель Гофман, давно потерявший веру в то, что выборная полиция может справиться с «распустившимися людишками», решил во что бы то ни стало добиться осуществления давнишнего своего желания и завести в Иванове полицию не выборную, а государственную.

Опекуны малолетнего наследника недавно умершего графа Николая Петровича Шереметева, едва получив донесение от управителя села Иванова, сразу стали на его сторону и тут же указали:

«...чтобы по многолюдству Ивановской вотчины, бываемым там ярманкам и торговым дням, для лучшей способности в надзоре за благоустройством по вотчине, чего учрежденная из жителей того же села полиция не в силах, учредить сельскую

полицию из отставных обер- и унтер-офицеров доброго поведения, что и возложить на попечение отставного поручика Гофмана. Таковую полицию учредить с штатным положением в год: полицеймейстеру 600 рублей, двум частным — по 500 рублей, восьми квартальным и одному брандмейстеру — 300 рублей...»

Фабриканты, неожиданно лишившиеся права устраивать на полицейскую службу людей, им удобных, встретили эту новость с негодованием и решили бороться. В свою очередь возмутились и бедняки, у которых отняли последнее призрачное «право» — участвовать в выборах сельской полиции. Толку от этого, правда, не было никакого, но все же крестьяне испытывали нечто вроде удовлетворения своего самолюбия, принимая в выборах одинаковое участие с «именитыми».

Для фабрикантов все, однако, разрешилось весьма благополучно.

— Чего сетуете? — пожурил как-то Кураев своих друзей и лукаво прищурился. — Я так полагаю: казенная ли полиция, выборная, а рупь-целковый люб всякому человеку.

Так на поверку и вышло: государственная полиция оказалась не менее падкой к ассигнациям, чем полиция выборная.

И полицмейстер перенес все свое усердие на «искоренение крамолы».

Редко кто из крестьян не попадал в черную. Квартальные то и дело врывались в избы, хватали всякого, на кого указывали сыщики, и нещадно избивали арестованных, уверенные, что этой мерой «выколотят бунтарский дух» из людей.

Но чем своевольней действовали «блюстители», тем отчаянней становились рабочие. И не раз уже,

вначале по ночам, а потом и среди бела дня, летели камни в дома фабрикантов, полицейских чиновников и в будки квартальных.

Брандмейстер все время был начеку: ивановцы ждали пожаров.

Насилия доводили людей до иступления. Даже самые тихие, забитые старики словно бы обезумели. На фабриках то и дело вспыхивали бунты.

Кураев приуныл.

— Быть худу, — повторял он все чаще. — Облютители фабричные... Ой, обернется как худо!

А когда один из квартальных был найден убитым и посаженным на скамье в полной форме со шпагой в руке, Яков Якимович стрелой влетел к Гранову.

— Я что говорил! Вот она — казенная полиция гофманская! Теперь конец! Теперь пойдет бушевать беднота... Огнем все пожгут!

Слова Кураева оказались пророческими. Не успел он вернуться домой, как точас же начался «бунт»...

Три дня бушевало Иваново. Черная была разрушена до основания. Полицмейстер, пристав и квартальные как в воду канули. Исчез куда-то и брандмейстер. Да, впрочем, он и не нужен был никому: пожарные рукава и бочки были сожжены еще в самом начале восстания.

На четвертый день, окруженный сильным отрядом конницы, в Иваново прибыл владимирский губернатор.

Его встретили градом камней и улюлюканьем.

Конники врезались в толпу и рассеяли ее.

Губернатор совещался с фабрикантами целую ночь.

— Все от полиции! — горячился больше других Яков Якимович. — То ли дело была своя, выбор-

ная. Она все повадки ивановцев знала, а эти, казенные, никакой сноровки не имеют. Только и всего, что рубят с плеча.

— Ладно, — сдался в конце концов губернатор. — Попробую добиться восстановления в Иванове старой полиции, выборной.

Поутру был созван сход. Губернатор торжественно заявил, что «поступит по воле крестьян» и будет просить Петербург «полицию государственную отменить».

— Кака така полиция?! — закричали вокруг. — Да тут не одна полиция! Мы и от хозяев не мене зла принимаем!

— Голодом мрем! Рупь двадцать пуд стала мука аржаная! Дрова — пять с полтиной сажень!

— Работаем, что волы, а хлеба не видим!

Губернатор растерялся, пробормотал что-то невнятное и заторопился уйти.

Его место занял Гранов.

— Землячки! — произнес он елеиным голосом. — Об чем нам тут толковать? Ежели мы виновны, дело поправим. Свои, чать. Неужто не дотолкуемся? А перво-наперво, я так полагаю, надо нам от той казенной полиции освободиться. Она виною всему. Вот где сидит, на самой на шее!

— И то! — раздалось откуда-то со стороны. — Мочи не стало от проваленных!

Народ постепенно стихал, Гранов ловко сводил речь на полицию, все напасти, которые переживали бедняки, приписывал только «озорству квартальных и их начальников...»

В тот же день графу было отправлено составленное на сходе «всепокорнейшее прошение об отмене казенной полиции».

«Верный своему слову», губернатор черкнул в

уголочке прошения: «Целесообразность сего подтверждаю».

20 июня 1820 года в петербургской графской канцелярии был написан ответ:

«Находящихся в селе моем Иваново при учрежденной бывшим над имением моим опекунством сельской полиции чиновников, по неимению в них надобности, учиня расчет, выдать им принадлежащее, от занимаемых ими должностей уволить и из вотчины им выехать, исправление же в вотчине полицейской должности оставить в общих правах, как было до учреждения той из чиновников полиции...»

Крестьяне почувствовали некоторое удовлетворение:

— Как-никак, а испугались, сделали по нашей воле...

— А придет срок, поговорим и с хозяевами...
Всем миром с ними поговорим.

Глава VI

С возами, полными товара, Кураев прикатил однажды в Хóлуй на ярмарку. Остановился он у своего старого друга, купчины-раскольника Ершкина.

Троекратно облобызавшись с хозяином, гость направился прямо в моленную, где по случаю кануна воздвиженья собралась уже вся купеческая семья.

Пав на колени, Яков Якимович всей душой предался молитве.

Кураев немногого просил у бога. Он не был завидушим человеком и никогда не гнался за большим. «Поспешись, — говорил он, — людей

насмешишь. Курочка по зернышку клюет, и та... как бы сказать...» Ему бы только прожить, «как-нибудь» да оставить Афонюшке «кое-какое» обзаведение.

А наследник у него вырос такой, что Яков Якимович не мог нарадоваться на него. Афоня и все фабричное мастерство изучил, как «Отче наш», и отлично знал толк в купецких делах, и с людьми был обходителен точь-в-точь как отец... Как же не молиться о таком наследнике!

И Кураев, потный от усердия, бил поклон за поклоном.

— Подай, осподи, смиренному рабу твоему... Сподоби укрепить светелки мои... Пошли преуспеяния в трудах моих...

После бдения гость с хозяином и хозяйским приказчиком Силычем ушли в амбар и там, вдали от ушей, принялись за обсуждение своих дел.

То, что советовал Яков Якимович, было хоть и не ново, но все же весьма заманчиво для Ерошкина. Следовало только как можно лучше обдумать все, рассчитать и тогда с «божьей помощью» пуститься на риск...

Утром Ерошкин пригласил к себе съехавшихся на ярмарку богатеев и закатил такой пир, что к вечеру гости мертвецки упились.

Крестьяне-светелочники только диву давались.

«Что такое? Куда запропастились настоящие покупатели? Почему по торгу ходит одна мелкота?»

Не пришли купчины на ярмарку и на другое утро. Это становилось уже совсем подозрительно. Кое-кто начинал догадываться, в чем дело. А когда по торгу пронесся слух, что купчины пируют у Ерошкина, все так и ахнули.

— Пропали наши головушки! — заметались крестьяне. — Быть нашему товару в амбаре ерошкинском.

Крестьяне сунулись было к дому купчины, чтобы вызвать кого-нибудь из гостей, но Силыч пригрозил, что ни на грош не купит у них товару, если они вздумают хоть за версту подойти к владениям его хозяина.

— Так и знайте, — грозил он. — С чем приехали, с тем и отбудете. Ни вот столечко не куплю.

Это была нешуточная угроза. Многие светелочники приехали издалека в надежде сбыть пряжу по такой цене, чтобы было чем уплатить налог и самим как-нибудь прокормиться до следующей ярмарки. О том же, чтобы вернуться домой ни с чем, и думать нельзя было. Дома и совсем ожидало разорение — ни приказные, ни помещичьи управители дня не будут ждать; они все унесут со двора за недоимки, ничего не оставят.

Как же быть? Кому пожаловаться на ерошкинские проделки?

Три дня гуляли гости у хлебосольного хозяина. А когда спохватились, было уже поздно: весь скупленный втридешева товар лежал на складе Ерошкина.

Одураченные купчины долго ругались, грозились пожаловаться самому губернатору, но в конце концов сдались и перекупили товар у «дольщиков» с большой надбавкой.

Весьма довольный собой, Кураев укатил в Иваново. На пути он не пропускал ни одного нищего, всех оделял милостыней и для каждого находил подходящее слово сочувствия, утешения.

Афоня встретил отца у раскрытых настежь ворот нового дома.

Кураев, несмотря на свои пятьдесят с лишним лет, легко спрыгнул с возка, дал сыну поцеловать свою руку, чмокнул его в бугристый лоб и, чуть переваливаясь, направился к крыльцу, где его поджидала жена.

Отдохнув с дороги, Яков Якимович позвал к себе сына.

— Игнашка как? — спросил он с некоторою тревогой. — Не якшается ли с Митькой грановским?

— Куда там! — успокоил Афоня отца. — На улке видит — и то в бега пускается от него.

— Молодец Игнашка. Хвалю. А работает как?

— Загляденье! А что касемо мелких долей на выбоике, лучшего умельца днем с огнем не сыскать. Таково искусно кисточкою раскрашивает, таково бойко, — любо-дорого.

Кураев степенно расчесал пятерней седеющую каштановую бороду.

— И за это хвалю... Да... Выбойка теперь, сынок, первое дело. Она, братец, и полица теперь наша и кормилица... как бы сказать.

Яков Якимович не преувеличивал. В те годы выбоика и в самом деле была в большом ходу. Производилась она так: набитый одним рисунком холст закрашивали в черную краску, а белые места рисунка оставляли для других красок. Чем пестрее был рисунок, тем дороже расценивался ситец. Главным в выбоике была хорошо исполненная ручная отделка или, как ее называли, расцветка. Тут манер не подходил, — мелкие доли раскрашивались исключительно кисточкой. Это была кропотливая, очень тонкая работа, на которую был способен далеко не всякий человек.

— Так... Хвалю Игнашку... — нараспев протянул

Яков Якимович. — Парень, что и говорить, дельный. — И, подумав, прибавил: — Рубля бы два денег подарить ему, что ли?

Афоня сразу потемнел и неодобрительно взглянул на отца:

— Вот еще, баловать! Мало мы его, и так благодетельствуем.

— А ты не жадничай! — не зло погрозился Кураев. — Ты помни: для дела ежели — никогда рубля не жалеи. Рубль отдадим, десять наживем...

Наследник хитренько прищурился.

— А на что ему два рубля эти? Я б ему, умельцу такому, не два рубля подарил, — дом поставил бы...

— Спятил ты?

— Сам знаешь, папаня, женится ведь Игнашка. Слышал я краешком уха, что думает он с тестем своим набойным делом заняться.

— Да ну?

— Верные люди говорят.

Кураев вдруг привлек к себе сына, и с великой гордостью поглядел на него.

— Так вот ты куда гнешь... Ай да Афоня! Так ты его, значит, покрепче привязать думаешь к нам?

— Как же иначе. — произнес Афоня, припалая к отцовской руке. — Мы ему дом, он нам — ссудную запись. Как на цепи держать будем. Никуда не денется. Чуть вздумает от ворот поворот, — стоп! Плати-ко за дом. Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! — вместе с сыном покатился со смеху и Яков Якимович. — Фу-ты... жив... вот... тики над-орву!

Но это был не злой смех, особенно со стороны Якова Якимовича. Кураев давно уже подумывал

о том, как бы задержать Игната при фабрике, когда окончится срок его кабалы, и всей душой обрадовался предложению сына.

Да и как могло быть иначе? Кто же другой, как не Лапин, вполне заслужил того, чтобы хозяева крепко берегли его и не отпускали от себя?

Кабальный любил фабрику и так был предан делу, как будто оно принадлежало не чужим людям, а лично ему.

Сам Лапин, как бы ни хвалили его, никогда не оставался доволен собой.

— Эка невидаль, что я работаю не хуже других! — сетовал он на себя. — Вот по-новому бы, не как все, миткаль набивать и краски заваривать, — это, действительно, есть чему радоваться...

Он всегда носился с какими-нибудь идеями и, бывало, не досыпал, не доедал, а своего в конце концов добивался.

В набойной светелке Кураева уже давно не расправляли миткаль руками. Игнат придумал каток, который приводился в движение нажимом на двойную пружину. Каток стрелой пролетал по набивному столу и так разглаживал ткань, что даже самый придирчивый мастер не мог обнаружить складок и некрашенных мест.

На других фабриках в заварках нечем было дышать, а в кураевской под потолком, в двух противоположных углах, были сделаны две сквозные пробоины, и в них вставлены обыкновенные коньки-флюгера.

— Тьфу ты, пропасть! — удивлялись фабриканты. — Простей ведь простого... Сколько этих самых коньков на воротах зря треплются, а что бы кому догадаться для освежения воздуха в светелках их приспособить? Экий, скажи на милость,

Яков Якимов, кабальный у тебя парень умственный!

И при этом каждый раз непременно поминали Петрова.

— Вот и у Гранова — Митька этот самый, тоже ловкий на выдумки. А только не настоящий он человечешко... И озорник, и охальник, и бунтарь-бунтарем, а уж Игнашка, что тихий, что услужливый, что стеснительный, ажно смотреть умиленно...

В последнее время Лалин бился над изготовлением таких черных, фиолетовых, красных, розовых и коричневых цветов красок, которые превосходили бы краски, изготовляемые на других фабриках, и к тому же еще не линяли.

Но как ни старался он, а из затей ничего путного не выходило.

Тогда скрепя сердце Игнат решил посоветоваться с Митрием, которого до этого старался видеть как можно реже.

Петров жил на окраине, в отдельной каморке, которую снимал у одинокой вдовы-старушки. Бывшего товарища он встретил запросто и тут же усадил его за стол.

— А у меня радость, — поделился с гостем Митрий. — Отец приехал. Ко всенощной с хозяйкой моей поплелась.

Лалин смутился, хотел было спросить про своего старика, но только вздохнул и потупился.

Пока гость и хозяин закусывали, Егорыч вернулся из церкви. На старике была ситцевая рубашка, плисовые штаны, правда, довольно потертые и выцветшие, но совсем еще целые, и новенькие лапоточки.

За несколько лет Петров почти не изменился,

только как будто стал меньше ростом, и лицо, все в добрых лучиках, словно бы посветлело, приняло выражение умиленности.

Митрий исправно, каждый месяц, переправлял отцу два рубля — добрую половину своего заработка.

Отец Лапина с великой скорбью наблюдал, как благодаря заботам сына еосед обзаводится постепенно хозяйством.

Петров построил новую сосновую клеть, осино-вый овин, хлев. Были у него лошадка (на ней и приехал он к сыну), корова, свинья, куры и даже два гуся...

Обо всем этом старик подробно рассказал Игнату, не забыл даже про плетеный половень — постилку для утирки ног, которая лежит на пороге его горнички...

Лапин понуро молчал. Только перед расставанием он набрался смелости и чуть внятно буркнул:

— А мой там? А? Отец какво живет?

— Живет, — покачал головой Егорыч. — Однако не того... Как мать твоя, Астафьевна, значит, преставилась, так худо все стало... И то — ни тебе доглядеть некому за стариком, ни по хозяйству... этого... То ись, одно слово, худо...

Лицо Игната залило краской. Ему вдруг стало непереносимо больно и стыдно за себя.

— Ты вот чего, Егорыч... Как обернешься домой, зайди к родителю моему. Дескать, Игнат бьет низкий поклон и сулит денег к спасу прислать.

И ушел...

Лапин явился к Митрию вновь лишь после того, как уехал Егорыч. Отказавшись от угощения, он сразу приступил к делу.

С того дня Игнат проводил все вечера у Петрова. Оба они так увлеклись затеей, что ни о чем другом не думали и не говорили.

Но секрет красок не давался.

— У Сокова бы Андрея Степанова выпросить, — нерешительно предложил как-то Петров. — Небось, покойный братец его, Осип Степанов, передал ему шлиссенбургскую свою выучку.

Лапин безнадежно махнул рукой.

— Куда там! Не такие, как мы с тобой, совались к нему. Первейшие богачи пробовали тайну варения красок у него выпытать, денег сколько ухлопали, а так, не солоно хлебавши, и уходили...

В селе Иваново и в самом деле жил в свое время крепостной крестьянин графа Петра Борисовича Шереметева, Осип Соков, «постигший, — как говорили про него ивановцы, — немецкую тайну красковарения».

Соков был, что называется, на все руки мастер. Был он и отменным резчиком, умел и образа писать (у владимирцев научился), ходил и к палешанам перенимать затейливое их письмо. Только всего этого ему было мало. Главное, к чему он стремился, — научиться составлять краски и отделять ситец «не по русскому ладу», а так, как делают это на фабрике Леймана, в Шлиссельбурге.

Граф хорошо знал Сокова «как большого умельца» и потому сразу же уважил его челобитную и отпустил в Шлиссельбург.

Через несколько лет, в 1878 году, Осип вернулся в Иваново победителем. Все, что ему было нужно, он выведал на фабрике Леймана.

Однако никому из светелочников не было от того никакой корысти — Соков ни за какие деньги

не хотел поделиться с земляками своим секретом. Кое-что, правда, «пронюхали» от него ивановцы и сейчас же приступили к составлению красок по-новому.

Вскоре на селе появилась целая улица, носившая название Мастерской, где исключительно занимались составлением красок. Но шли годы, а сравниться по мастерству с Соковым не удалось ни одному человеку. Осип удивлял всех набивкой и крашением по «иноземному чину». Обработка соковских ситцев была безупречна, рисунок самый затейливый, краски «самых приятных сочетаний и красоты».

После смерти Сокова секретом завладел его брат. Андрей Степанов. И хоть был он горьким пьяницей, только тайну брата хранил крепко и ни на какие хитрости конкурентов-фабрикантов не поддавался.

Не верил и Лапин, что ему с Митрием удастся обвести вокруг пальца Сокова.

— Тут надо иначе, — после долгого раздумья поделился он с Петровым. — Взять его ситец да каким-нибудь манером свести, смыть, что ли, краски и попытаться проникнуть, что к чему туда влито — прибавлено.

Они так и сделали. Это была трудная, почти безнадежная работа. И все же они с огромным увлечением принялись за нее.

Вскоре вся каморка Петрова заполнилась склянками, банками, черепками и стала похожа на первобытную лабораторию.

Изредка, поздними вечерами, когда село спало, к Петрову тайком заходил молодой Кураев.

— Ну, как у вас тут? — неизменно спрашивал он и доставал из-за пазухи шкалик.

Митрий хмурился и ничего не отвечал.

— А ты не серчай, — ухмылялся Афоня. — Я твоих премудростей, все единственно, не понимаю. И не бойся. Ишь, каких тут банок понаставили разных. Чисто у черно книжника... Ну, колдуйте, колдуйте, а я посижу.

Кураев устраивался на лавке и с большим любопытством принимался следить за работой.

Потом все усаживались за стол.

— Первому тебе, — наливая стаканчик, говорил обычно гость. — Хозяину честь.

За первым шкаликом появлялся другой, третий. Афоня держался с работниками, как равный с равными, шутил, лез целоваться с Митрием и превозносил его, как только мог.

Петров только сунул брови и всем существом своим стремился показать, что не верит в искренность «фабрикантского сына».

— Да ты чего умасливаешь меня? — резко бросил он однажды Кураеву. — Неужто думаешь, из корысти я этим делом занимаюсь? Мне наплевать. Все единственно, тайной, ежели открою ее, торговать не буду... Я так, для души! Пускай, кто хочет, пользуется.

И выплеснул из стаканчика недопитую водку на пол. Водка попала в черепок с краской. Петров заметил это и испуганно привскочил.

— Все дело испортил, — покривился он. — Эк меня угораздило.

И вдруг шлепнул себя ладонью по лбу.

— Стоп! А что, ежели и впрямь водки сюда прибавить? Может, лучше разьет?

Как только Кураев ушел, кабальные подняли черепок и с нескрываемым удивлением принялись

рассматривать забродившее неожиданно в нем месиво.

— Да ты гляди! — подпрыгнул внезапно Лапин. — Да оно цвет будто меняет.

— И то! — подтвердил возбужденно Петров. — Ишь ты, дело выходит каковское!

Утром, едва проснувшись, оба сразу бросились к черепку.

Результат был поразительный. Цвета красок приобрели яркий оттенок, стали гляцевитей, сочнеей.

Однако пущенный в дело новый состав красок через неделю побурел и вскоре слинял.

Тогда Игнат попробовал заменить водку выпрошенным у Кураева более слабым виноградным вином.

— Словно бы лучше? — неуверенно обратился Лапин к Петрову, когда краска была готова, и сейчас же приступил к новому опыту: в одну банку налил свежего вина, в другую — прокисшего.

Лучшей оказалась краска, разведенная кислым вином.

— Да тут к месту уксус! — крикнули они в один голос. — Не водку, а уксус надо лить в краски.

Так ревниво сохраняемый Соковым иноземный секрет красковарения был самостоятельно раскрыт двумя русскими простыми кабальными — Митькой Петровым и Игнашкою Лапиным...

Когда все было кончено и выдумку можно было применить к делу, Лапин пришел к Митрию и, не дав ему опомниться, пал на колени.

— Ради дружбы старой... Митенька! Благодаритель! Ты ведь с Грановым все равно как враждовал, так будешь и дале. А мы с Кураевым живем в тихости, в мире, ну и...

— Ну и встань перво-наперво. Что в ногах валяешься? Встань, говорю! А теперь говори.

— Не сказывай Гранову про выдумку нашу.

— Выходит, один ты будто надумал?

— Уважь, Митрий, век не забуду!

Петров подумал, подумал и махнул рукой.

— Где наше не пропало! Не жалко, пользуйся...

В тот же день Кураев укатил в Романово-Борисоглебск за романовским уксусом, на котором должны были изготавливаться черный, фиолетовый, красный, розовый и коричневые цвета красок с их разными оттенками.

Как только Яков Якимович вернулся из поездки, Афоня немедленно завел разговор о расширении фабрики.

— Умен ты, Афоня, да прыток, — недовольно поморщился отец. — Курочка по зернышку... А вот ежели насчет миткаля, это так. Тут самое время потолковать. Ивановский миткаль теперь — тьфу! Нынче, братец, аглицкий в ходу, беленый миткаль...

И Кураев продолжал действовать исподтишка, осторожно, избегая всяких иноземных новшеств и вводя у себя лишь такие, без которых нельзя было обходиться. Даже несложная голландра, хорошо знакомая всем побывавшим в Москве, пугала его.

— Нет уж, — отмахивался он, — бог с ними, с немцами этими. Мы уж как-нибудь по-неученому, русским обычаем...

Как-то в начале осени в Иваново прибыл гость с петербургской бумагопрядильной фабрики аббата Оссовского.

Вечером у Гранова, где остановился приезжий, собрались все богатые фабриканты.

Поговорив о том, о сем, гость внезапно примолк и сокрушенно вздохнул.

Хозяин забеспокоился.

— Уж не обидел ли я тебя чем?

— Обидел... Все вы обидели... — покрутил носом приезжий. — Не ждал я, по правде сказать... И как это можно до сих пор дедовскими обычаями жить, не понимаю?

— А, вон ты чего! — облегченно улыбнулся Гранов. — А мы и не жалуемся. Мы и так, слава богу, всем премного довольны. Живем не хуже других.

Питерец возмутился.

— Да вы подумайте... Послушайте, что за границей творится.

И он с жаром заговорил о Харгрэвсе, изобретшем дженни-пряжу, об Аркрайте с его прядильными станами, которые вначале приводились в движение лошадьми, а позже — водяным, «ватерным» колесом, о Самуиле Кромптоне с его Мюдль-дженни.

Фабриканты даже рты поразинули от удивления.

— Вот это д-да! Ай да англичанка! Куды уж нам суконным рылом в немецкий калашный ряд соваться!

Но стоило гостю заикнуться о том, что хорошо было бы завести такие машины на ивановских фабриках, как все сразу угрюмо примолкли.

Ожили купчины и снова обрели дар слова, только когда петербуржец сообщил, что фабрика Оссовского стала казенной и правительство «в заботе об отечественном ткачестве» воспретило провозить по западной границе белые, набивные и крашеные

ткаини, а сухим путем и морем — «платки всякие, бумажные и полотняные».

— Это вот так! Это по-нашенски! Пошли, осподи, благоденствия и многая лета отцу нашему, государю Александру Павловичу.

Утром на радостях Гранов собрал крестьян.

Пришел и Петров поглядеть, как он выразился, на «хозяйское лицедейство».

Заметив Лапина, он пробрался к нему.

— За подаяньицем?

— Не займаемся! — надменно ответил Игнат. — Как звали нас с Яковом Якимовым, мы и пожаловали.

— А отцу денег послал, как сулил?

— Срок придет, и пошлю. А сейчас у самого недочет. Дело затеял.

— Так, так... А трепался зачем? К чему обнадеживал?

Игнат вспылел.

— Ты еще что за барин выискался такой? Не желаю слушать такое!

— Так не пошлешь?

— И не пошлю! Говорю, у самого недочет. А ты лучше за собою гляди, не в свои дела-то не суйся...

— Ах, так?! Ну, ладно же! Я ж тебя за родителя твоего нынче перед всем народом ославлю!..

И Митрий скрылся.

Когда все собрались, Гранов поклонился народу и смиренно сложил руки на ввалившемся животе.

— Все мы сыны одного отца небесного, — произнес он, закатывая глаза. — Ибо сказано в евангелии: «Я жаждал, и вы дали мне пить. Я был голоден, и вы накормили меня». Примите же, русские люди, от щедрот наших.

Подле Гранова стоял облаченный в праздничные
ризы священник. Каждое слово Ефима Ивановича
он подкреплял крестным знаменем.

В стороне, на помосте, уставщики и певчие
повщинского толка гремели «Славу». Там и здесь
в толпе, кто в нос, кто горлом подпевал лику¹,
воздухе ныряли, припадали к земле, взметывали
к небу, кружились торжественные колокольные
перезвоны.

Как только отошел молебен, крестьян построил
гуськом, и Гранов приступил к раздаче милостыни.

Фабриканты зорко всматривались в лица людей,
но, к удивлению своему, не находили среди них
коренных ивановцев, — за милостыней стояли
больше пришлые, сторожа, отставные солдаты,
исключенные из духовного звания дьячки, мещане
и странники.

Все шло вначале чинно и строго, как вдруг
в глубине улицы прокатился сдержанный гул, ко-
торый тотчас же перешел в гомон, свист, улюлюканье
и рев.

К воротам дома Гранова хлынула толпа.

— Робята! — громче всех кричал Митрий.
Нашим же хлебом нас потчуют! Ешь, робята, на
добро!

И подскочив к Игнату, схватил его за ворот.

— А этому толкай в рот пироги! Пусть жрет
И за себя, и за родителя старого!

— Лизоблюд! Пес хозяйский! — ревели вокруг
товарищи Митрия и наседали на Лапина. — Родитель
голодом мрет, а ты, антихрист, в два года
жрешь!

¹ Л и к — церковный хор.

— Бейте его! Он хозяину с потрохами продался!

— Он не только нас, за грош свою душу чорту продаст!

Игнат едва вырвался из рук обозленной толпы и укрылся в доме Гранова.

Нагрянувший вихрь все опрокинул, смешал, растоптал. Покатились под ноги котлы с кашею, миски с лепешками и пирогами, жбаны с квасом и брагою.

Так, неожиданно, празднество было сорвано, и фабриканты, только накануне хваставшиеся перед петербургским гостем своим умением жить с рабочими «в мире и тихости», вынуждены были разойтись по домам посрамленными.

Но это не помешало, однако, Гранову вечером созвать к себе гостей.

Всюду в его доме, — и в передней, и в комнатах, — ярко горели люстры и лампы. Лак, серебро, бронза, отраженный в зеркалах искристый свет, лепные, в золоте, потолки, замысловатая стенная роспись, картины в тяжелых рамах, гравюры, статуэтки из слоновой кости, персидские тысячные ковры, — все скучилось, как будто вся эта роскошь принесена только что на показ и расставлена кое-как, где приведется.

Гостей пригласили к столу. Захлопали пробки, заискрилось дорогое вино.

На улице темнело. Один за другим гасли огни. Только в оконцах избенок, как всегда, мерцали неверные язычки лучины, и, обреченные на бессонную ночь, согнулись над станами женщины. И отщелкивали свою извечную, постылую песню ивановские соловьи — челноки.

Скучно светилось и оконце черной избы иванов-

екого приказа. Там, на голой земле, тесно сбились в кучу около десятка арестованных «за подстрекательство к бунту» рабочих.

В самом углу, закованные в кандалы, лежали два изувеченных человека: плотник Иван Хохлов и его товарищ — обнищавший крестьянин из пришлых — Василий Вихорев. Их обвиняли в ограблении церкви «Покрова пресвятой богородицы».

Заключенные не то со страхом, не то с изумленным почтением то и дело поглядывали на них.

— Никак не пойму, — спросил, осеняя себя крестом, один из «бунтарей», — как допустила вас к себе божия мать?

— А так вот и допустила, — проворчал Хохлов.

— И не страшился?

— Бог его знает, — вздохнул Вихорев. — Может, и страшился, только с голоду не поймешь... Голод, он страха не слушает... Однако, как подошел я к казанской божией матери, прежде чем за жемчуг приняться, в пояс ей поклонился и трижды руки ее облобызал.

— И как же потом? — допытывались бунтари.

— Как же... как же! — огрызнулся Хохлов. — Так же вот. Видно, в жемчугах-то да в иных драгоценных камнях, да в кадильном дыму забылась матушка царица небесная. Сытая голодных разуметь перестала...

— Ну, ты! — прикрикнул на плотника какой-то бородач. — Богохульство оставь, покуда рылом своим дорожишь.

— А мне что! Я правду говорю. Какое тут богохульство? По-моему, ежели б по-божески, не допустила бы она, чтоб мы тут лежали. Нешто не понимает она, что мы не из озорства раздели ее, а с голоду. С го-ло-ду! Разумеете?

Он зло потрянул головой и, плюнув сквозь зубы, прибавил:

— Нет уж, видать, кто в золоте да в жемчугах ходит, тот нам не брат. Одним миром все они ма-заны...

— Ей-ей, пришибу! — привскочил бородач.

Но кто-то схватил его за руку.

— Чего взбеленился?! Чью руку держишь?! Мало тебе, что на них и так живого места не стало? А еще позабыл, что завтра их на площади будут сечь нещадно кнутом, да заклеят, да в Сибирь погонят потом?

— Туда им, псам, и дорога!

— Это как бог рассудит еще... Может, и сбе-гут еще с божьей помощью...

В соседней камерке сидел отдельно Петров.

Далеко за полночь к нему вошел сторож.

— Ну-кось, готовься!

Митрий очнулся от забытья. Глухо звякнули поручни. Потревоженные крысы ощерились и неспеша расползлись по углам.

— Скидывай портки!

— Ну да, рассказывай, — зевнул колодник. — Дня, что ли, мало?

Но, заметив в руке сторожа плеть, передернул-ся и уронил на грудь голову.

— Погодили бы малость... Места живого не осталось на мне... Разве можно так измываться?

Сторож развел руками и с сожалением покачал головой.

— Эх, Митька, Митька! Не сносить тебе го-ловы!

И, словно опомнившись, хлеснул больно узни-ка по спине.

Игнат негодовал. Что это, в самом деле, такое? Так-то Ариша за ласку платит? Кто ей ситцу на сарафан подарил? Он, Лапин. Кто ей к празднику такой платок преподнес, что все девки ахнули? Он, Лапин. А она что выдумала? Ни за что, ни про что опозорила, можно сказать, человека!

Подумать только: невеста старшего мастера кураевской фабрики Игната Григорьева Лапина — и вдруг носит подаяние этакому головорезу и бунтарю, как Митька Петров! Где у нее совесть после этого, скажите на милость? Как она не поймет, что играет с огнем? А вдруг, не приведи бог, люди подумают, что сам Лапин подсылает ее к черной избе, что он втихомолочку продолжает якшаться с Петровым. А? С людьми надо всегда держать ухо востро. Кто не знает, что люди — недоброе племя! Чуть что, и каждый норовит тебе ножку подставить, в грязь втоптать с головой.

Терзаемый такими жестокими думами, Игнат явился к невесте требовать объяснений. Сухо поздоровавшись, мастер начал издалека. Он заговорил о милостях, которыми «осыпает» его Яков Якимович, о полученной от хозяина ссуде на постройку нового дома, о том, что после венца думает открыть для Ариши ларек с бумажным товаром, а тестю дать денег и приспособить его к горшечному делу — окрашивать в горячих горшках крашенину и пряжу.

— Жили бы как! — скривил он лицо. — Дом — полная чаша... От всех уважение...

— И заживем! — ни о чем не догадываясь, вставил свое слово старик.

— Как же! — огрызнулся Лапин. — Держи кар-

Только и дождешься, что в черную угодишь, ам, чего доброго, и в деревню сошлют, как бунт. А попробуй-ка, проживи-ка в деревне приешных неурожаях! Сам, небось, знаешь, мука — рупь восемь гривен пуд, крупа — двадцать пуд, овес — пять рублей четверть... Во! живи тут... И заместо того, чтоб любовь мою иметь, иные прочие меня же под монастырь пот подвести...

Ариша на мгновенье смутилась, но тотчас же за себя в руки и вызывающе поглядела на жено.

— Ты без обиняков... Что всегда с подходцем? ходила к Митрию и еще буду ходить! Нет такого закона, чтоб христа-ради узникам не подавали... Ты бы...

Ариша не договорила. Взбешенный старик схватил ее за косы и бросил под ноги Лапину.

— Я живо дурь выколочу! Я тебе покажу, как сенихом разговаривать! Проси прощенья, дура! Ариша рванулась из рук отца.

— Оженится, тогда пускай измывается... А пока нету власти его надо мной... не буду кланяться в ноги...

Игнат хотел что-то сказать, но раздумал и, важнадувшись, пошел прочь из избы.

— Игнат Григорьев! — взмолился светелочек. — Вернись!

Ариша даже не оглянулась.

Когда наступил вечер, Ариша, отпросившись со двора на посиделки, побежала обходными путями к приказу.

— Митя! — позвала она тихо и приникла лбом к прешеченному оконцу черной.

Колодник вскочил.

— Ты ли, Ариша?

И оба смолкли, устремив друг на друга полные грусти и преданности взгляды.

— Это что у тебя под глазом? — вздрогнул вдруг узник. — Никак синяк?

— Отец прибил, — вздохнула девушка. — Игнашка нажалился. Не хочет, чтоб я ходила к тебе.

— Не хочет? — заскрипел зубами Петров. — Еще не женился, а уже хомут затягивает?..

В черную вошел земский.

— Прочь от окна! — прикрикнул он на Аришу и стал лицом к лицу с узником. — Помни! Ежели еще раз попадешься, сгниешь в кандалах. Со света сживу. Так и знай. В последний раз отпускаю, ради Ефима Ивановича. А попадешься, — прямо в Сибирь.

Земский не лгал. Только по большой просьбе Гранова Митрия решили не отдавать под суд. Ефим Иванович высоко ценил достоинства Петрова и поэтому скрепя сердце до поры до времени спускал ему с рук «всякое непотребное озорство».

А найти такого мастера, который знал бы хорошо и заводку манера и набойное дело, было и в самом деле не легко. На ситцы в одну-две краски покупатели и не глядели. Миткаль давно уже набивался не меньше, чем в десять-двенадцать цветов. В этом занятии Петров не знал себе равных. Чем сложнее был рисунок, тем вдохновеннее он трудился над ним и отделывал его так, что сам Гранов только разводил руками и удивлялся. Митрий часто забывал о еде и отдыхе и готов был целыми неделями не выходить из светелки, только бы добиться своего и получить такой состав краски, которого не знали еще на других фабриках...

И все-таки даже Митрий, несмотря на свое умение, избежать штрафов не мог. У Гранова дело было поставлено так, что будь ты хоть семи пядей во лбу, а мастеру не угодишь.

Общий успех работы набойщика зависел от рисунка ситца, величины набивной формы, от качества краски и правильного изготовления формы резчиком. При многосложном манере-рисунке набойщик прибавал форму к миткалю чокмарем. Малый рисунок был не спорым в работе. Поэтому, чтобы как-нибудь выгнать нищенскую издельную оплату, иной рабочий норовил сразу двойным манером набить два малых пространства. Но и такая сноровка мало помогала успеху. Как ни старались люди, толк получался всегда один: к концу месяца добрая треть получки оставалась в виде штрафов в карманах хозяев.

Добро бы, если бы Гранов взыскивал с людей только за их вину. С этим можно бы еще как-нибудь мириться. Тяжелее же всего было держать ответ за чужие грехи.

— Ты что же это? — кричал вдруг старший мастер, размахивая кулаком перед носом какого-нибудь набойщика. — Ты что наделал?! Почему краска на ткань легла?

— Так не моя ведь вина, резчик форму неправильно вырезал...

— Я покажу тебе форму! А ты чего глядел, идол?! Штрафую и тебя и резчика!

То же самое повторялось, когда обнаруживалось, что красковар слишком загустил краску и она ложилась на миткаль неровно, делалась вязкой. Жидко запущена краска, расплывается так, что на ситце оказалась подсечка, а при крашении пробелы и пятна, — все равно убыток хозяину, штра-

фовать, значит, и колериста и того же набойщика. А ежели кто недоволен, жалуется на несправедливость, — пожалуйста, скатертью дорога, никто не держит. Мало ли за воротами безработных?

В такие минуты, когда рабочим ни за что, ни про что грозили увольнением, Митрий терял власть над собой и с пеной у рта подскакивал к мастеру.

— За что в карман к людям залез да еще улицею пугаешь? За что последний кусок изо рта вырываешь? Упырь!

Подогретые заступничеством Петрова, люди бросали работу и обступали мастера.

— Как есть упырь! Всю кровь выпил! Зови Ефима Иванова!

На крик прибежал Гранов, выслушивал жалобы, обещал во всем разобраться и, кое-как уgomонив народ, торопился покинуть светелку.

И все чаще, вечерами, едва Митрий кончал работу, его ловили на улице и «за подстрекательство к бунту» уводили на ночь на расправу в приказ...

Как земский накануне сказал, так и случилось: на рассвете Митрия выпустили из черной.

В тот день он пробыл в фабричной светелке пятнадцать часов. Все тело его невыносимо ныло от недавних жестоких побоев. Едкий пот разъедал исполосованную спину, на рубашке одно за другим проступали кровавые пятна. Ядовитые испарения — мышьяк, ртуть и металлическая окись — вызывали тошноту, дурманили.

Был уже поздний вечер, когда Митрий ушел с работы. Свежий августовский воздух так опьянил его, что он зашатался и едва не упал.

Немного отдышавшись, Петров, горбясь, заша-

к своей квартире, находившейся рядом с домом, где жила Ариша.

«Нешто зайти?» — подумал он, увидев в оконце свет. И тут же, решившись, направился к двери. В избе Петров застал Лапина.

— Эвона, честь какая досталась, — насмешливо промолвил гость. — Землячка именитого удостоилась встретить. Здорово, Игнат Григорьев. Так, что милость твою теперь величают?

Лапин хотел огрызнуться, но, встретившись с полным отвращения взглядом бывшего товарища, прикусил язык и только нервно затеребил нагую рыжую бороденку.

— И ты здравствуй, Демидыч, — уже почти вежливо обратился Петров к старику. — Что невежливо глядишь? Или гостю не рад?

Заметив, что Игнат ерзает недовольно на лавке и вот-вот готов протянуть руку за картузом, Демидыч внезапно осатанел.

— И нечего таскаться тут по ночам! — крикнул он. — У меня девка — невеста, а они лезут, что их ждали.

Ариша забилась в угол и закрыла руками лицо.

— Значит, гонишь? — упавшим голосом произнес Петров. — Так я понимаю?

— Так и понимай.

— А ты как, Игнат? — шагнул Митрий к Лапину. — Тоже прочь гонишь старого товарища своего? Или до краю совесть уже потерял?

Лапин засопел и отвернулся к стене.

— Так значит! — сквозь стиснутые зубы пропел Петров. — Ну, что ж? Я другого от тебя и ждал.

И поспешно ушел.

Всю ночь Митрий метался по селу, нигде не на-

ходя себе места. Лютый гнев, страшное сознание обиды и беспомощности сводили его с ума. Он готов был рвать на себе волосы, биться головою о камни, кричать благим матом, так кричать, чтобы все село вместе с ним содрогнулось.

Минутами ему и в самом деле казалось, будто он кричит не своим голосом и, окруженный толпой, мчится куда-то вперед.

Но Иваново спало. И кругом была беспросветная мгла. И не было помощи.

«В лес! — вспыхнуло вдруг в голове. — Собрать товарищей и с дрекольем на них пойти! Огнем всех пожечь! А раньше всех Игнашку проклятого! Чтоб ни мне, ни ему не досталась Ариша!»

Но мысль погасла прежде, чем успела укрепиться в мозгу...

Очнулся Митрий перед рассветом у Аришиной избенки. Это очень поразило его.

— Как меня сюда занесло? — разводя руками, произнес он вслух. — В роще был, а сюда как попал?

Внезапно от лица его отхлынула кровь. Охваченный ужасом, он вихрем помчался в один из переулков, где стоял новенький дом Игната.

— Фу-ты! Целехонек!

Под крыльцом лежала охапка соломы, которую Митрий принес ночью с твердым намерением поджечь дом.

Но что помешало поджогу, так и не мог вспомнить Петров.

Глава VIII

Что за напасти! Чуть поправятся дела у Якова Якимовича, чуть только начнет он серьезно подумывать об увеличении светелок, как тотчас же на

него непременно обрушивается какая-нибудь беда.

— Словно бы рок ходит за мной, — жаловался Кураев. — Только-только настоящей фабрикой обзавелся, бац — пожар. С грехом пополам новую поставил, бац — бунт.

А с той поры, как разрешили иноземцам ввозить в Россию разные ткани, и вовсе погибель пришла. Что ни день, то все новые и новые фабрики наши русские лопаются мыльными пузырями.

Кураев и в самом деле не преувеличивал. Иноземцы завалили своим товаром все российские ярмарки. Да каким товаром! Их добротные ситцы так и сверкали, так и переливались всеми цветами радуги. А узоры на тканях были до того замысловаты и так радовали глаз, что не верилось, будто все эти чудеса созданы человеческой рукой.

Вот тут-то и поняли ивановцы всю правду, которую внушал им когда-то прибывший из Петербурга гость.

— Да! — вздыхали они. — Как ни верти, как ни отмахивайся, а, видать, без заморских машин пропадем мы ни за понюх табаку. То ли бы послушаться тогда умного человека.

Кураев растерялся и не знал, с какого конца подойти, чтобы предотвратить неминуемое разорение.

Еще только несколько месяцев тому назад у него была единственная забота — приобретать к ярмаркам как можно больше миткаля. Он так и делал. Афоня дневал и ночевал на фабрике, а Яков Якимович тем временем рыскал по деревням и закупал все, что было ему на потребу.

И вот на же тебе, — такое вдруг горе!

— Что это делают с нами? — плакался перед сыном Яков Якимович. — И кто? Ты подумай, кто

обидел-то нас! Сам, пошли ему бог многоя лета
государь!

Афоня пугливо подбегал к двери, прислушивался, потом выглядывал в окно и предостерегающе подносил палец к мясистым губам.

— Тсссс!

— Да я нешто с укором? — возражал отец. — Да я за государя... как бы сказать... Да не мы ли за него денно и ночью осподу молимся?

И, сиротливо роняя голову на плечо, Курае предавался невеселым размышлениям.

Вот и строй побольше светелок. Обзаводись ты новыми станами. Рыскай несытем, закупай миткаль. Бейся, мучайся, старайся для того лишь чтобы на складах скопились горы товара, которые и за полцены продать теперь некому. Да, нечего сказать, хорошие времена! Куда ни посмотришь, — всюду уныние, ропот. Одна за другой закрываются мелкие фабрики, на крупных тоже почти нечего делать, у фабричных ворот столько теперь безработных, что и на Иордани в крещеньев день такого изобилия людей не увидишь...

Для ивановцев и подлинно наступили черные дни. С утра до ночи в окна притихших домов стучались нищие. По дорогам бродили голодные дети. Лица их были желты, глубоко запавшие глаза скорбно устремлялись на прохожих. Беспомощные худые ручонки тянулись за подаяньем.

Закрывались лавки, палатки, ларьки. Там здесь встречались заколоченные избенки, хозяев которых вместе со всей семьей отправляли в поисках хлеба на родину, в давно заброшенные ближние и дальние деревеньки.

Всем было тяжело. Но пуще всех убивался грыз себя Лапин. И зачем только вздумалось ему

гнаться за большим? К чему понадобились горшечное дело и торговля? Мало ли зарабатывал он у Кураевых? Так нет же! Едва он женился на Арише, как в него словно бес вселился. Разбогатеть, самому завести фабричку, выйти в купчины, — и никаких больше. Лишь об этом и думал и говорил он с молодою женой.

Ариша вначале неохотно слушала мужа и поддакивала ему только для того, чтобы поскорее отвязаться. Но когда Игнат дал тестю денег и приспособил его к горшечному делу, она, чтобы не так чувствовать одиночество и разлуку с Митрием, принялась усердно помогать отцу.

Игнат был в восхищении от жены. Она всегда была занята, постоянно суетилась, следила за домом, с увлечением говорила о том, сколько приготовила с отцом миткаля для набивки, какие сорта лучше идут, сколько можно получить прибыли, если приспособить к делу еще двух-трех подручных.

Так, постепенно, Ариша с Демидычем и тремя помощниками начали готовить до двадцати штук ситца зараз. Предварительно выбеленный миткаль они набивали одной или двумя красками, вечером смывали ткань, утром высушивали. На другой день крахмалили и снова сушили, потом «голландировали» у посторонних людей, где ситец складывали и прессовали.

Покончив с одной партией, Ариша тотчас же, не давая ни себе, ни другим роздыха, принималась за новую.

На столе у Лапиных все чаще появлялись говяжьи щи, пироги, баранина, бараньи окорока.

Ариша, всю жизнь пробавлявшаяся редькой с квасом да пустою похлебкой, раздобрела, все ее

движения стали увереннее, солидней. Как-то само собой вышло, что бывшие подруги перестали бывать у нее и вместо них завелись новые знакомые, все больше жены резчиков, красковаров, приказчиков, лавочников.

По воскресеньям, вечерами, Лапина обычно занималась тем, что аккуратноенько пересчитывала недельную выручку и любовалась стопочками серебряных денег и пухленькими пачками ассигнаций.

— Вон сколько насобирала! — не без гордости обращалась она к мужу. — А ларек заведем, и все разбогатеет.

Ей все еще продолжало казаться, что говорит она так «не из какой-то корысти», а исключительно для того, чтобы рассеяться, забыться, не думать о «жестокой жизни с немилым», на которую обрек ее отец.

Но в последнее время Ариша начала с тревогою подмечать, что в душе ее происходит что-то неладное. Давно ли минули дни, когда она не находила себе места, когда образ любимого человека преследовал ее наяву и во сне, когда в порыве непереносимой тоски и отчаяния она готова была бросить все и бежать с Петровым куда глаза глядят, обречь себя на нищету, только бы быть рядом с ним? А вот теперь, как ни старалась Ариша будоражить сердце, как ни стремилась убедить себя, что без Митрия ей жизнь не в жизнь, а той острой боли, которая раньше терзала беспрестанно ее душу, уже не было.

Однажды Лапин пришел домой в особенно приподнятом состоянии.

— Ну, жена, есть у нас ларь.

— Да что ты?

— Приобрел. Теперь заживем мы с тобой!

На другой день Лапины отслужили молебен и приступили к торговле.

Ариша оказалась на редкость способной купчихой. У нее для всех находилось доброе слово, прибаутка, улыбка. К тому же она так ловко умела показать товар лицом, что редкий человек уходил из ее ларька с пустыми руками.

Помимо других покупателей, у Лапиной приобретали товар еще и лотошники, которым она отпускала ситцы в долг, с небольшой надбавкой в цене.

Дело шло, ширилось. Вскоре стало очевидно, что Арише с отцом одним не управиться и с торговлей и с набивкою ситцев.

Игнат стал втупик. Как быть? Бросить фабрику, — потерять хороший заработок и, что всего неприятней, утратить доброе расположение к нему хозяев; остаться на работе, — горшечное дело и торговля без его зоркого глаза вперед не пойдут. Вот и рискуй тут, думай, как знаешь, — за двумя ли зайцами погнаться или одного не упустить.

В конце концов, после долгих колебаний, Лачин все же надумал и, набравшись храбрости, поговорил начистоту с Яковом Якимовичем.

— Ну-к что ж! — пожевал губами Кураев. — Тебе виднее. Только смотри, чтобы... как бы сказать... За большим погнавшись, малого бы не потерял...

Но, увидев, что Игнат крепко стоит на своем, сдался.

— Коли так, помогай тебе бог. Орудуй. Я тебе не помеха. Что же касается долга, не сумлевайся. Перепишем ссудную запись и все тут. Погожу деньги с тебя требовать. Не таковский я человек.

Все пошло так, что лучшего и желать было нельзя. На селе только и разговоров было, что об Игнате.

— Эвона, как бывшего кабального распирает! Вот это планида! Давно ли в опорках ходил, а недалек час, глядишь, на волю выкупится и в купчины, чего доброго, выскочит.

И вдруг такая обрушилась напасть! Надо же было додуматься разрешить иноземцам беспрепятственно ввозить в Россию всякие ткани и к тому же еще установить такие тарифы с русских набивных изделий и ситца, что хоть последнюю рубаху с себя продавай.

Да легко сказать — продавай. Попробуй, найди покупателя. Не лежит ли товар, на который Лапин затратил все свои сбережения, на складе нетронутым? Или попытаться взыскать долг с лотошников, разорившихся в пух и прах! Сунься пойдя, когда все они променяли лоток на суму и пробаваются христовым именем.

Но что обиднее всего, это поступок Кураева. Не Игнат ли служил ему верой и правдой, не он ли почитал его заместо отца и оказывал всяческое послушанье? А на поверку что вышло? Чем отблагодарил Яков Якимович? И как у него духу хватило вызвать Игната в такую злую годину и потребовать долг?

— Помилуй, Яков Якимов! — со слезами на глазах взывал Лапин. — Неужто же не отдам, когда выправлюсь?

Кураев сочувственно качал головой, вместе с Игнатом сетовал на судьбу, но остался непреклонен.

— А дом-то и товарищ твой я отпишу... Куда же денешься, ежели нужда такая пришла! Только

ты не печалься. Хоть дела-то и тихие, а я тебя не оставлю. Приходи работать ко мне. Много, как раньше платил, не дам. Сам знаешь, расчету нет. А половину твоего прежнего жалованья положу. Хоть и то накладно, а уж для тебя... как бы сказать... поприжмусь...

Вернувшись домой, Лапин, даже не перекрестившись на образ, тяжело опустился на лавку и угрюмо уставился куда-то в пространство.

Ариша ни о чем не спрашивала, ей и без слов все было понятно.

К вечеру от Кураева приехали за товаром.

Лапин и бровью не пошевелил, когда жена сказала ему об этом.

Со двора доносились зычный голос кураевского приказчика, сдержанный плач Ариши, глухие пошлепывания тюков о дно телеги.

«Словно бы земля о крышку гроба стучится», — напряженно прислушиваясь к пошлепываниям, повторял про себя Лапин и еще ниже опускал голову.

Наконец все стихло. В горницу вошла Ариша, сумрачно огляделась вокруг, сняла зачем-то с горки кувшин, подула на него, поставила снова на место и разбитой походкой направилась к оконцу.

Темнело. Где-то далеко погромыхивал гром. Один за другим загорались неверные язычки дымных лучинок.

Внезапно в тишине вспыхнул смех.

Ариша взгляделась. Из-за переулка показалась группа людей.

— Эй, что ли! — крикнул чей-то голос, и сейчас же грянула песня:

Митрофан да Василий
Были брательнички,
Провурательнички...

Лапина вздрогнула и отпрянула от окна, — она узнала голос Петрова.

По старинным-то годам
Они жили — слава богу,
А по нынешним годам —
Стало нечего обуть... —

лихо подхватили товарищи Митрия.

Накупили овец,
Да постригли их:
Митрофан-то на вариги,
А Василью на чулки... —

залился соловьем Петров.

Митрофана-то не греют,
А Василью студенны...

— Что потемнела? — неожиданно крикнул Игнат. — Иль к разбойнику потянуло? Голос узнала полюбовника старого! И пошла к нему прочь, не держу!

Он сорвался с места, чтобы скрыться в закуте, но неожиданно для себя шагнул к оконцу и прильнул горячим лбом к стеклу.

Озаренный лунным светом Петров под свист, ухање и хлопки закружился в разудалейшем плясе. Вдруг он остановился, постучал пальцем о тыл ладони, уморительно сморщился и приложил палец к уху, как это проделывал церковный регент.

— О-о-у-ууу! — пустил он октаву и грянул во всю силу легких:

Брат разминый,
Брат Васюта,
Это плохо ремесло!
Давай ново заводить:
За охотою ходить...

— Эй, жги-говори! Поддай-навали!
Все рванули вместе с Петровым:

Митрофан-то купил суку,
А Василий — кобеля.
Митрофанова не лает,
А Василья не бежит...

— Ух! Эх! Ты! — завертелся на одной ноге Митрий, дробно хлопая обеими ладонями по другой, отставленной далеко вперед. — Эх, пташечки, да ох, канашечки! Пляши, ребята! Пляши, потому покудова за пляс не штрафуют! Выкомаривай, Яков! Жарь, Федька, ходи! Ух, ух, ох, ты! Ходи, хата, ходи, печь — хозяину негде лечь!..

Группа уходила все дальше и дальше, слова песни сливались в один общий гул. И вот уже все снова затихло.

Игнат больно сдавил виски и тяжело вздохнул. Перед ним, навеянное песней земляка, вспыхнуло далекое прошлое. Вспомнились больная мать, старый отец. Притти бы к ним сейчас на погост, поклониться до самой земли. Сколько лет не видел он родных мест, близких людей! Ни разу не помог старикам, забыл, что они существуют на свете. Даже полтину, которую ему когда-то дал для отца Яков Якимович, тоже присвоил себе. Все себе, только для себя жил...

И так стыдно стало Игнату за себя и так остро позавидовал он Петрову!

«Ему что! — колюче скреблось в мозгу. — Весь

он тут, с потрохами. Как перелетная птица живет. По нем пускай хоть все пропадом пропадет, а он, знай себе, пляшет да песни орет. А в крайности в деревню подастся... Там у него и дом, и хозяйство... А я для чего жил? К чему старался? Чтоб из кабалы да опять в кабалу? Эх, жизнь проклятая!»

С неделю просидел Игнат дома, почти не приглядываясь к еде и ни с кем не разговаривая.

Ариша наконец не выдержала.

— Ты бы работать пошел, Игнат... Чего уж тут убиваться... Изложет тебя дума, ежели так-то, без дела...

Поутру Лапин шагал уже давно знакомой тропой в набойную кураевской фабрики.

Вскоре туда же устроилась расцветчицей и Ариша.



СЕМЬЯ ГРУДНОВЫХ

Глава I

От котла валил такой густой пар, что вся каморка тонула в тумане. Низко склоняясь над лоханью, Лукерья ловко подбирала пальцами левой руки намыленную часть простыни или рубахи, ожесточенно теребила ее в кулаках и пропускала дальше.

Стоявшая рядом семнадцатилетняя дочка прачки, Наташа, подхватывала белье, скручивала жгутом, до последней капли выжимала и, когда накопилось несколько штук, принималась полоскать его в корыте.

Обстановка для обеих женщин была до того привычная, что они, несмотря на страшную духоту, работали без напряжения, почти легко и всегда споро.

Только вечером, по дороге домой, Лукерья начала чувствовать ноющую боль в пояснице, боках и груди.

Но в тот день Наташа с тревогой подмечала за матерью что-то неладное.

Лукерья то и дело отрывалась от лохани, смачивала виски холодной водой и широко, до боли в скулах, раскрывая рот, жадно глотала банный воздух или вдруг хваталась за дочь и долго билась в хриплом, каком-то лающем кашле.

— Ты бы на улку вышла, — предлагала девушка в такие минуты. — Выдь не надолго, а я тут управляюсь сама...

Лукерья собиралась с силами и болезненно улыбалась.

— Ничего, дочка... Теперь уже скоро... Как-нибудь одюжу, авось.

К вечеру в каморку зашла хозяйка.

— Ох, и парко у вас! Умаялись, чать?

— Да как сказать, Прасковья Ивановна... Маненько, словно бы, есть.

Хозяйка с шутливой таинственностью подмигнула.

— А мы с тобой, Лукерьюшка, с устатку чарку пропустим, оно и того... сразу механизма вся заиграет.

И увела Лукерью с дочкой на кухню, где на столе были для них уже приготовлены миска с кислой капустой, тертая редька, два ломтя черного хлеба и пузатый графинчик.

Лукерья с наслаждением выпила водки, прищелкнула безжизненно-белыми, волокнившимися от долгого соприкосновения с горячей водой кончиками пальцев и, захватив щепотку капусты, не поднесла ее к губам, а как-то подбросила в рот.

— Первая — колом, — снова подмигнула хозяйка и налила еще по одной себе и прачке.

— Вторая соколом, — отшутилась Лукерья и чокнулась.

— А ты ешь, Наташа, на нас, старух, не гляди, — похлопала Прасковья Ивановна девушку по плечу.

Наташа поклонилась и застенчиво отломилла кусочек хлеба.

— Ну, а третья, Лукерьюшка, — облизнулась хозяйка, — третья, по присказке...

— ...мелкими пташечками, — не сдерживаясь перед соблазном, досказала за хозяйку прачка и с удовольствием потерла руки. — Дай бог здоровья, Прасковья Ивановна!

— Кушай на добро здоровье!..

Едва очутившись на улице, Лукерья внезапно почувствовала сильную головную боль.

— Должно, не надо бы третью, — тяжело прошептала она. — Словно бы...

Она не успела договорить, — в груди закрипело что-то, заныло, и тут же к горлу подкатилась обжигающая волна, изо рта показалась кровь.

Кое-как дотащившись домой, Лукерья повалилась на койку. Однако к приходу мужа она заволновалась и, пытаясь встать, протянула к дочери руки.

— Спину мне поддержи, а я ноги спущу.

— Полежала бы, мама... Как бы беды не накликала...

— Не мешай! — возразила больная. — Отцу время притти.

Едва Лукерья приподнялась, как все сразу закружилось перед глазами и по всему телу проступил горячечный пот.

За окном слышались голоса.

— Трофимыч пришел! — встревоженно шепнула больная. — Слышишь, с Мишуткой и Егоровной балагурит.

Она с трудом поднялась с койки, сделала шаг к двери и... упала на руки дочери.

В избу вошли Трофимыч с сынишкой и старуха соседка Егоровна.

Хозяин снял шапку, перекрестился на образ и шагнул к жене.

— Что, Лукерья? — тихо спросил он. — Или недужится?

Прачка не отвечала.

— Кончается! — объявила убежденно Егоровна. — Вишь, и нос-то уже с острецою, и лоб с воштинкою будто. Уж кто-кто, а я эти дела во как знаю. Не жить ей, голубушке.

Мишутка бросился было к матери, но вдруг, испугавшись ее воскового лица, спрятался за спину сестры.

Густая борода Трофимыча встопорщилась, метнулась из стороны в сторону и уныло вытянулась. Короткий мясистый нос глубоко прорезали синие жилы. Пальцы правой руки сжались в кулак, разомкнулись и зашарили в воздухе.

Наташа собрала ужин, усадила брата за стол и позвала отца.

— Не стану, — сумрачно ответил старик и удобнее уселся на краюшке койки.

Уже давно ушла во-свояси Егоровна, и, крепко прижавшись к сестре, давно уже спал намаявшийся за долгий рабочий день Мишутка, а Трофимыч все еще не смыкал воспаленных глаз, думал горькую свою думу.

Старик хорошо знал, что Лукерья не жилица

на этом свете. Уж три с лишним года она кашляла кровью и на его глазах таяла.

— Что же! — говорил он, когда его спрашивали о здоровье жены. — Все там будем. Из праха взят и в прах обратишься.

И это были не праздные слова. Трофимыч всем сердцем стремился уверовать в какой-то особенный, глубокий их смысл, который бы заставил его примириться с жестокою неизбежностью — смертью.

Со временем так и случилось. Щемящая тоска постепенно уступала место тупой покорности судьбе.

Об одном лишь просил у бога Трофимыч: продлить жизнь старухи всего лишь на несколько месяцев. И он младенчески верил, что бог исполнит по его молитве, что так именно будет и быть иначе не может. Вот еще только третьего дня Наташин жених говорил, что собрал уже около четырех рублей денег. «Теперь стоит октябрь, — завтра Пятница-Прасковья, — рассчитывал в уме старик. — Значит, к Оксинье-полухлебнице как раз Кирюша со всеми делами управится».

Трофимыч не сомневался, что заветная сумма в конце концов появится у жениха его дочери. Пусть только пять рублей на могорыч мастеру будут накоплены, и все исполнится по молитве Трофимыча: Кирюшу переведут из поденщиков в постоянные рабочие, и тогда женится он на Наташе...

Вот чего ожидали и Трофимыч и Лукерья. Нельзя же, в самом деле, выдать дочь за поденщика, который пока что и себя прокормить-то не может. То ли дело постоянный рабочий. Правда, и ему не сладко живется, а все-таки спокойнее как-то. Поденщик сегодня работает, завтра гуляет, а постоянный, покуда не выгнали, каждый день у станка.

А что будет, если Лукерья не дотянет до конца января? Мишутка в учениках еще ходит, не помощник пока, сам Трофимыч тоже слаб уже стал, силы не те. И если не станет Лукерьи, не миновать идти дочке на фабрику.

От этой мысли старика брала оторопь. «Наташу на фабрику? — мучительно думал он, сжимая руками виски. — Чтобы коршунами налетели разные там заведующие, приказчики, мастера?.. Шалишь! За тридцать пять годов работы нагладелись мы досыта. Наглумятся, натешатся, а потом — вон на улицу. Мало ли загубленных ходит по городу?»

Трофимыч тяжело поднялся, пересел к столу и больно заломил руки.

Был еще один выход. Но как решиться сказать об этом Наташе? Да и самому старику легко ли расстаться с Кирюшей? Парень он непьющий, в семье словно свой, а Наташу до того жалеет, что души в ней не чает. Разве может сравниться с ним горький пьяница и озорник отбельщик Никишка? Только и радости, что у родителей его свой дом да корова. Нет! Пусть что будет, а не ходить ему в зятях у Трофимыча.

Старику почудилось, будто его окликнула жена. Он шагнул к ней и осторожно, чтобы не потревожить, опустился на койку. Лукерья лежала не шевелясь, желтая, почти прозрачная.

Внезапно она приоткрыла глубоко ввалившиеся глаза.

— Ты бы лег, Трофимыч...

Старик вздрогнул от неожиданности, но тут же и посветлел.

— Иль полегшало?

— Будто и не было хвори, до того в грудях легко стало.

— Да ну-у?

— Ей-богу, — тихо проговорила она и положила высохшую руку на колено мужа. — Ложись, Трофимыч, чать, утром на фабрику...

Собрав все силы, Лукерья встала и, пошатываясь, направилась к столу.

— Повечеряем и на покой. Похлебай, Трофимыч. И я с тобой малость отведаю.

Но едва проглотив первую ложку похлебки, старуха забилась в жестоком кашле. Темные сгусточки крови облепили пересохшие губы и подбородок.

Она стерла кровь с подбородка и поглядела на пальцы.

— И с чего бы это у меня? То не было, не было, а тут вдруг опять... Должно быть, от вчерашнего... Гладили мы с Наташей... видать, начадило от утюга... угорела...

Лукерья и сама поверила в свои слова, от этого ей стало как будто немного спокойнее и легче.

Но сам Трофимыч не поддавался обману. Сумрачно поглядев на жену, он неуклюже обнял ее и уложил в постель.

— А ты чего еще там? — прикрикнул старик на дочь, высунувшую голову из-под одеяла. — Кому говорю?!

Наташа торопливо повернулась к стене.

Все снова примолкло.

За оконцем выл промозглый осенний ветер.

Зябко, неуютно было в ветхой избенке. Из каждой щели ее, от прокопченной паутины, что колебалась над образом, от пакли, торчавшей из пазов гнилых стен, отовсюду мрачно проглядывала безнадежная нищета.

Жалко согнувшись, Трофимыч забрал в кулак бороду и так просидел до тех пор, пока до слуха

его не донеслись чьи-то хлюпающие по лужам шаги.

Вскоре скрипнула дверь, в избу ворвались ветер и брызги ледяного дождя.

На пороге, укутанная с головой в кацавейку, появилась Егоровна. Когда она подняла руку для креста, с локтя на земляной пол заструилась полоска воды.

— Никак жива еще? — удивилась старуха и, поджав тонкие губы, словно бы с укоризной уставилась на больную.

— Садись, — прошептала Лукерья. — Спасибо, соседей не забываешь.

— Ишь ты! — причмокнула Егоровна. — И голос подавать начала. А я всю ноченьку на исход души твоей молитвы творила. Ну, да, авось, обойдется, бог даст.

Лукерья зажмурилась в тихой улыбке.

— Терпит покуда царица небесная. Вечор, доподлинно, тяжело было. А нынче отошло, отлежалась маненько.

Больная исподтишка взглянула на мужа и осталась довольна собой. Слова ее, видимо, достигли цели, — Трофимыч сразу взбодрился, повеселел.

— Еще поскрипим мы с тобою, Лукерьюшка. Правда ведь, поскрипим?

— А куда нам торопиться, Трофимыч? Еще как поскрипим-то!

Глава II

Когда Трофимыч и Мишутка вышли на улицу, дождя уже не было, но ветер продолжал буйствовать еще с большею силою. Под его лихими напорами неогороженные хибарки, больше похожие на

хлев, чем на человеческое жилье, вздрагивали, стонали и мутною пылью кружились в воздухе содранные с крыш клочья трухлявой соломы.

Но ни холод, ни ветер не могли окончательно разбудить Мишутку. Он все еще продолжал спать на ходу. Другого желанья, собственно, и не было у мальчика с тех пор, как его отдали на фабрику. Вот уже около года поднимается он с первыми петухами, наскоро съедает корку хлеба и ломтик редьки, бежит на фабрику и там остается до позднего вечера.

После тяжелого дня, проведенного в цехе, он едва передвигает ногами, все тело невыносимо ноет и в ушах стоит такой звон, что кажется, будто по голове бьют тяжелым молотом. Только в праздники и оживает Мишутка. Отоспавшись всласть, он, позабыв обо всем на свете, бежит на улицу, где его поджидает уже орава ребят. Городки, бабки, свайка, горелки, развеселые песни,—не счесть, сколько счастья приносит праздничный день! Но едва подкрадется вечер, и сразу угасает веселье, и ноющим комочком сжимается сердце, и мрачнеют детские лица.

Впереди снова шесть каторжных дней, и черная ругань, и штрафы, зуботычины.

Трофимыч крепко держал за руку сына и, подавшись всем корпусом вперед, упрямо шагал против ветра.

По дорогам, из разных концов, к фабрикам тянулись рабочие.

На фабричном дворе к Трофимычу подошел Кирюша.

— Здравствуй, отец!

Старик в свою очередь собрался было поздороваться, но вдруг его словно кольнуло что в грудь.

— Ишь его, отца разыскал! Эх бог даровал зятька беспортошного. Проходи-ка своей дорогою, авось, найдем жениха для Наташи покраще!

Слова Трофимыча были до того неожиданны, что парень в первое мгновение принял их даже за шутку.

— Ну?! Чего бельмы-то вылупил?! — все более раздражаясь, крикнул старик. — Говорю, проходи!

Кирюша недоуменно огляделся, как бы ища защиты у собравшихся вокруг них людей.

— Так ведь я не с тем, чтобы обидеть тебя, Трофимыч, — невнятно забормотал он. — Я с уважением. А коли провинился чем, скажи.

Пришибленный вид парня, его полный страдания, как у незаслуженно обиженного ребенка, взгляд не только не смягчили старика, а еще больше озлили. Какое дело было ему до того, прав, виноват ли Кирюша. А самого его кто-нибудь спрашивает, заслужил ли он, чтобы каждый день принимать новые непосильные удары судьбы? Нельзя же так-таки безропотно всю жизнь терпеть. Нет! Все равно, кто виноват, было бы только на ком выместить всю накипевшую горечь.

И чем незаслуженней была ругань, тем полней наливалось злобным удовлетворением все его существо.

— Жених! — колотил он себя в грудь кулаком. — Год цельный в поденщиках ходит! Слюнявка! Да ежели б настоящий ты был человек, давню бы постоянную работу добыл! А ты что?! Кудрями взять хочешь?! Шалишь! Без умишка кудрями не проживешь. Что смотришь? Скажите вы ему, добрые люди!

Рабочие переглянулись. Один подошел вплотную к Трофимычу.

— Ты чего зря на парня напал? Он чем виноват, что его на постоянную не переводят? Ты мастера лучше спроси, почему столько времени за нос водит Кирюшку.

За поденщика вступились почти все окружающие.

— Что правду Кирюшка, не таясь, в глаза мастерам говорит, так за это ему и в цеху маяться и от тебя терпеть злые слова?!

— Понимать ты должен, Трофимыч!

— Уважать должен да радоваться, что бог такого зятка посылает!

Заступничество окончательно взорвало старика.

— Плевать я хотел на правду его! Мне не правду подавай, а хлебом дочку корми! Знаем мы эту правду! Не одного она в кандалы обрядила да в Сибирь увела!..

На крик Трофимыча прибежал сторож.

— Эй, вы там! — набросился он на старика. — С утра, дьяволы, пьяны! Марш по местам!

Старик сразу осекся и, низко свесив голову, поплелся в цех. Сделав несколько шагов, он вдруг негромко окликнул Кирюшу. Тот повернулся на зов.

— Лукерья моя... Худо с Лукерьей... Приходи нынче после работы.

И разболтанной походкой отправился дальше.

Только теперь пришел в себя Мишутка и вспомнил, что ему давно пора в механическую. Его обуял страх. А вдруг уже без четверти пять? А вдруг у входа в цех уже стоит с часами в руках мастер Шукарин? Неужели Мишутка из-за шума, поднятого отцом, позабыл во-время поспеть на работу? Что же будет теперь?

Сняв картуз, Мишутка, ни жив, ни мертв, боч-

ком сунулся в дверь механической. В то же мгновение в его волосы вцепилась шукаринская пятерня.

— С добрым утречком, дитяtko!

Подняв мальчугана на воздух, механик встряхнул его и отбросил прочь. Мишутка упал навзничь.

— Встать! — приказал Шукарин. — Живо! Помогите-ка там ему. А теперь руки по швам. Гляди в глаза, сукин сын. И улыбайся, когда мастер с тобой говорит! Когда учат тебя, дурака!

Подручный вытянулся, поднял голову и скривил лицо в жуткое подобие улыбки.

— Теперь кланяйся в пояс, — уже спокойнее произнес мастер и ткнул Мишутку кулаком. — Да ниже, хамово семя! Не для ради забавы об тебя руки мараю, — учу.

Так начался рабочий день подручного слесаря Мишутки Груднова.

Приступил к своему делу и Кирюша, работавший по-прежнему в низком, похожем на сарай здании — переборочном цехе.

Странное впечатление производила переборочная на непосвященного человека. Вначале трудно было понять, кому это непрестанно кланяются и точно в крайнем недоумении разводят руками безмолвные люди. То ли они молитву творят, то ли гимнастикой занимаются. Но как может человек долгими часами, без передышки, проделывать такие упражнения и не свалиться с ног? Уж не машины ли это, похожие на людей?

Только нет. Вон, заняв свое место, уже и Кирюша низко склонился над куском миткаля. Перегнув ткань руками через стол, он осмотрел, нет ли в ней изъянов, потом разогнул спину и сейчас же вновь развел руками и поклонился.

За день Кирюша должен был перебрать двести пятьдесят кусков шестидесятидвухаршинного миткала. Не проходило и часа, как уже от напряжения краснели и слезились глаза, немела поясница, пружинили, переставали сгибаться ноги.

Одним взмахом руки можно было перетянуть всего лишь аршин миткала, а чтобы выполнить весь урок, приходилось делать по двадцати одному взмаху в минуту и пятнадцать тысяч пятьсот взмахов за двенадцатичасовой рабочий день.

Никто не смел остановиться ни на мгновение. Как голодный волк за стадом, настороженно следил мастер за каждым движением переборщиков и только ждал случая, чтобы кого-нибудь уличить в нерадении.

Чуть что не так — и на листочке против фамилии провинившегося рука мастера выводила штрафной крестик.

Избежать этих крестиков не мог никто. Как бы ни крепился человек, все равно к концу дня он не выдерживал и начинал сдавать. И выходило, что в конце месяца постоянные рабочие не досчитывались доброй трети своего одиннадцатирублевого жалованья, а поденщикам доставались такие гроши, что на них едва можно было прокормиться с неделю.

Мастер был строг ко всем, но больше всего придирался к Кирюше. А уж кто, кажется, как не Кирюша, добросовестно выполнял все, что приказывали ему! Если недоставало ткани для переборки, он первый принимался за переноску товаров, либо поднимал в напорном отделении многопудовые медные валы, работал в котельной, смазывал и чистил части машин, кочегарил, трудился по всей своей совести.

зом сунулся в дверь механической. В то же мгновение в его волосы вцепилась шукаринская пятерня.

— С добрым утречком, дитятко!

Подняв мальчугана на воздух, механик встряхнул его и отбросил прочь. Мишутка упал навзничь.

— Встать! — приказал Шукарин. — Живо! Помогите-ка там ему. А теперь руки по швам. Гляди в глаза, сукин сын. И улыбайся, когда мастер с тобой говорит! Когда учат тебя, дурака!

Подручный вытянулся, подняв голову и скривил лицо в жуткое подобие улыбки.

— Теперь кланяйся в пояс, — уже спокойнее произнес мастер и ткнул Мишутку кулаком. — Да ниже, хамово семя! Не для ради забавы об тебя руки мараю, — учу.

Так начался рабочий день подручного слесаря Мишутки Груднова.

Приступил к своему делу и Кирюша, работавший по-прежнему в низком, похожем на сарай здании — переборочном цехе.

Странное впечатление производила переборочная на непосвященного человека. Вначале трудно было понять, кому это непрестанно кланяются и точно в крайнем недоумении разводят руками безмолвные люди. То ли они молитву творят, то ли гимнастикой занимаются. Но как может человек долгими часами, без передышки, проделывать такие упражнения и не свалиться с ног? Уж не машины ли это, похожие на людей?

Только нет. Вон, заняв свое место, уже и Кирюша низко склонился над куском миткаля. Перетянув ткань руками через стол, он осмотрел, нет ли в ней изъянов, потом разогнул спину и сейчас же вновь развел руками и поклонился.

За день Кирюша должен был перебрать двести пятьдесят кусков шестидесятидвухаршинного миткаля. Не проходило и часа, как уже от напряжения краснели и слезились глаза, немела поясница, пружинили, переставали сгибаться ноги.

Одним взмахом руки можно было перетянуть всего лишь аршин миткаля, а чтобы выполнить весь урок, приходилось делать по двадцати одному взмаху в минуту и пятнадцать тысяч пятьсот взмахов за двенадцатичасовой рабочий день.

Никто не смел остановиться ни на мгновение. Как голодный волк за стадом, настороженно следил мастер за каждым движением переборщиков и только ждал случая, чтобы кого-нибудь уличить в нерадении.

Чуть что не так — и на листочке против фамилии провинившегося рука мастера выводила штрафной крестик.

Избежать этих крестиков не мог никто. Как бы ни крепился человек, все равно к концу дня он не выдерживал и начинал сдавать. И выходило, что в конце месяца постоянные рабочие не досчитывались доброй трети своего одиннадцатирублевого жалованья, а поденщикам доставались такие гроши, что на них едва можно было прокормиться с неделю.

Мастер был строг ко всем, но больше всего придирался к Кирюше. А уж кто, кажется, как не Кирюша, добросовестно выполнял все, что приказывали ему! Если недоставало ткани для переборки, он первый принимался за переноску товаров, либо поднимал в напорном отделении многопудовые медные валы, работал в котельной, смазывал и чистил части машин, кочегарил, трудился по всей своей совести.

Одного лишь не переносил Кирюша — несправедливости.

— Работой, так и быть, донимай, — запальчиво выговаривал он мастеру. — Только зачем штрафы почем зря налагаешь и вместо человеческого разговору одно знаешь — лаяться?

Больше всего возмущало его обращение старших с подручными.

При нем никто не отваживался ударить мальчика. Кирюша коршуном налетал на обидчика и грудью защищал трепещущего от страха ребенка.

— Изверги! Креста на вас нету! Не смеете драться!

Заступничество кончалось всегда одинаково для Кирюши — его выгоняли с фабрики, а если он очень уж расхотелся, отправляли в участок.

Но никакие строгости не действовали на него. Он был неисправим. Вот поэтому Кирюша добрую половину года и ходил без работы, а если его и принимали на фабрику, то исключительно как поденщика.

Однако за последнее время он изо всех сил старался сдерживаться и заслужить доверие мастера.

— Вот соберу пятишку, — утешал он Наташу, — отдам ее, чорту нашему, Якову Васильеву, мастеру, на могорыч, переведут ужотко меня тогда на постоянную, и ай-люли! — прямо в церковь с тобой, под венец.

Изредка поденщику казалось, будто мастер одобрительно глядит на него, тогда сразу становилось легче дышать и от усталости не оставалось следа, словно бы и не было ее вовсе.

«Авось, так и дале пойдет, — загоралась ра-

дужная надежда. — Авось, нынче от штрафа избавит».

И начинал прикидывать в уме, сколько удастся прикопить денег за месяц, если он будет работать каждый день и получать зажитое без вычетов.

В думках выходило все замечательно. Еще немного усилий и конец мукам: Кирюша соберет нужную сумму, отдаст ее мастеру, и тогда желать больше нечего. Как только переведут его в постоянные, он и дня лишнего не будет ждать, тотчас же отправится с Наташею под венец.

Но натура взяла свое. Как ни сдерживался поденщик, а все же в конце концов прорвался.

Произошло это в то самое время, когда казалось, что добрые отношения с мастером наконец-то установились.

Накануне один из подручных, которые подносили к столам тюки миткаля, не выдержав ноши, вместе с нею упал да еще как на грех угодил прямо в лохань, куда сметали с пола сор и всякую грязь.

Озверевший мастер схватил подростка за шиворот и, словно провинившегося котенка, принялся тыкать его носом в испачканный миткаль.

Мальчик отчаянно завизжал и попытался вырваться из рук старшего. Тогда тот наступил ногой ему на спину и еще отчаяннее заколотил лицом о ткань.

Такого зверства не мог перенести Кирюша. Не помня себя, он прыгнул к Якову Васильевичу и вырвал из его рук подростка.

— Не смеешь! Не допущу!

Мастер обдал поденщика уничтожающим взглядом:

— А что смею, скажи-ка на милость?

Кирюша опомнился, но слишком поздно.

— Я не в обиду... Робенка жалко...

— Ну, то-то ж... Однако, как погляжу, как был ты смутьян, так и остался. Только шкуру овечью надел... Эх ты, голова непутевая!.. А я было думал еще на постоянную охальника этакого перевести... Нет, уж, видно, не бывать тебе в постоянных...

Поняв, что от Якова Васильевича после того, что произошло, добра не дожидаться, поденщик решил перейти на другую фабрику. Для этого нужно было лишь найти такого человека, который свел бы его с мастером или, еще того лучше, хлопотал перед заведующим наймом. «Четыре рубля — деньги не малые, — старался внушить себе Кирюша. — Не все же такие жадины, как Яков Васильич. Авось, с таким капиталом добьюсь своего. Утречком, перед работой коли, потолкую с Трофимычем».

На Трофимыча Кирюша надеялся, как на самого себя. И то сказать, человек степенный, с умом, да к тому же без малого тридцать пять лет проработал на фабрике. Ему все ходы и выходы ведомы.

Вот с такими мыслями сегодня утром и подошел переборщик к старику. И вдруг, ни с того, ни с сего, Трофимыч на него набросился, как на врага, при всем народе жестоко обидел и погнал прочь, как собаку. А за что? Чем он виноват перед ним? Чем виноват он, что Яков Васильевич упорно не переводит на постоянную?

Поденщик низко склонялся над миткалем, перетягивал его через стол, всматривался в ткань, снова разгибал спину и снова кланялся низко. Но

проделывал он это только по привычке, как раз навсегда заведенная машина, а все помыслы его и все чувства были обращены к одному: «Как быть? Что делать дальше?»

И сколько ни бился переборщик, а выхода не находил. Потолковать разве с Наташей? Уговорить ее махнуть рукою на все и обвенчаться с ним, не дожидаясь, куда найдется постоянная работа? Она, может быть, поймет его, пожалеет, уговорит отца... Только нет, не согласится Трофимыч. Не зря он нынче всердцах про другого жениха помянул. Это он про Никишку-отбельщика. Дом, вишь, у них да корова, оно и лестно ему...

Лицо поденщика перекопилось. Ох, если бы подвернулся ему в эту минуту Никишка! Узнал бы он кузькину мать!

Злоба вспыхнула так остро и так отравила все существо, что переборщик позабыл, где находится, и, отбросив миткаль, судорожно сжал кулаки.

— Опять вздумал озорничать?! — крикнул Яков Васильевич. — Или, в самом деле, по улице стосковался?

Вся кровь прихлынула к голове Кирюши и помутила рассудок. Он, ничего не соображая, уже пригнулся, готовый сделать прыжок и навалиться на мастера, как вдруг с болезненной остротой представил себе Наташу. От ее круглого лица с чуть вздернутым носом, от больших синих глаз, от всей полудетской фигуры как бы излучался тихий, робко мерцающий свет и трогательно согревал его душу. Из-под клетчатой косыночки выбился и умильно лег на невысокий лоб ржаной локонок.

— Нет, это я так, — упавшим голосом промолвил Кирюша. — Голову что-то больно стало...

Перепуганный было мастер облегченно вздохнул.

— Ладно уж... «Голову больно!..» Подумаешь, барин какой... Ну, работай. Будет ляды точить.

В обед в переборочную вихрем ворвался Мишутка.

— Отцу руку отрезало!

Несчастье подстерегло Трофимыча еще рано утром, едва он появился в цехе.

Осмотрев ничем не огороженную работающую часть строгальной машины, старик привычно засучил рукава и опустил руки к столу. В ту же минуту раздался пронзительный крик: вращающиеся ножи затагнули ладонь Трофимыча.

Когда машину остановили, рука старого слесаря была уже искромсана до самого локтя.

На фабрику вызвали инспектора. Первым делом был допрошен сторож.

— Пьяный он, вашь-бродь... Утресь еще на дворе буянил. Сам разнимал.

То же самое подтвердил и мастер.

— Не свой он какой-то был. Видать, здорово хлебнул старик.

Трофимыч на все вопросы отвечал только болезненными стонами да еще изредка с отчаянием выкрикивал:

— Старая моя... Кто же без меня похоронит ее? Везите проститься...

— Ну вот, все ясно само собой, — с возмущением пожимал плечами явившийся в цех управляющий фабрикой. — Слышите, господин инспектор, какую он городит чушь? Он пьян, как стелька. — И поглядел исподлобья на мастера. — Не понимаю, как это вы допускаете на работу пьяных!

Фабричный инспектор отправился в кабинет управляющего писать протокол.

— Да, — покрутил он головой и приятно улыбнулся управляющему. — Вы тысячу раз правы. Очень распустились фабричные.

И, обмакнув в чернила перо, написал:

«По показаниям свидетелей — мастера Игнатия Павлова Тупикова, а также дворового сторожа, ст-ставного унтер-офицера, награжденного георгиевским крестом четвертой степени, Никиты Степанова Галкина, и из опроса самого пострадавшего установлено, что оный пострадавший, слесарь Иван Трофимов Груднов, проработавший на означенной ситценабивной фабрике 34 года и 8 месяцев, неоднократно подвергавшийся штрафам, 29 октября 1885 года приступил к работе в пьяном виде, не засучив рукава рубашки, и во время работы, засмотревшись в сторону, слишком низко опустил руку к столу машины. На основании изложенного, ножами машины захватило край рукава. Желая выдернуть рукав, Груднов потянул руку, но не вперед, а назад, и при этом попал пальцами под вращающиеся ножи машины. Вследствие сего и принимая во внимание пьяное состояние пострадавшего, считаю безусловно установленным, что несчастье не зависело от отсутствия или недостаточности ограждения...»

— Вот и готово, — натруженно разгибаясь, произнес фабричный инспектор. — Прошу подписаться.

Управляющий просмотрел мельком протокол.

— Совершенно точно... Расписываюсь обеими руками, — польстил он инспектору и передал перо мастеру.

Последним подошел к столу сторож.

— Прочти, братец, и распишись.

— Так что, вашь-бродь, уже читали господин управляющий. Где прикажете?

— Вот здесь, внизу.

— Слушаю, вашь-бродь!

Сторож подписал бумагу, сделал под козырек, повернулся на каблуках и зашагал из кабинета.

— Постой! — окликнул его управляющий. — Вот тебе на табачок.

— Покорнейше благодарим, Николай Николаевич!

Вечером, едва окончив работу, Кирюша и Мишутка отправились в больницу для чернорабочих проведать Трофимыча.

Старик сделал движение, чтобы подать переборщику руку, но тут же горько усмехнулся и закрыл глаза.

— Хоть бы левую оттяпало! — протянул он после томительного молчания. — А теперь что получается? Работать-то как? Кончил ведь я работу-то.

Мишутка долго, с ужасом, глядел на окровавленный бинт, которым был перевязан обрубок отцовой руки, и, не сдержавшись, в слезах припал к груди старика.

Перед расставанием Трофимыч строго обратился к обоим:

— Старухе не сказывайте. Дескать, ногу ушибло. Не нынче — завтра домой обернется. Наташу я упредил, и вы так говорите.

— Была Наташа? — робко спросил переборщик.

— Только что ушла.

...Мишутке не пришлось солгать матери, — по приходе домой он застал ее уже мертвой.

Ее добила Егоровна. Под вечер, едва Наташа, улучив минуту, побежала проведать отца, старуха, все уже выпросившая у знакомых, ворвалась к больной с причитаниями.

— И как теперь жить будут детки твои? Стратотерпица наша, Лукерьюшка! Зарезало Трофимыча! Под ножи попал горемычненький наш!

На одну минуту Лукерья почувствовала во всем существе страшную, всеокрушающую силу. Она соскочила с койки и выбежала на улицу. Ветер сорвал с ее головы платок, разметал седые редкие волосы.

Устремив в пространство ненавидящий взгляд и сжав кулаки, больная бросилась вперед.

— Будь вы прокляты! — иступленно крикнула она. — Будь вы прокляты!

Но силы оставили Лукерью прежде, чем она успела пробежать с полдесятка шагов. Все вдруг поплыло перед глазами, завихлялось из стороны в сторону.

Она упала ничком в сугроб. Из рта хлынула кровь. Тело скрючилось, покрылось едкой испариной, стало тяжелым, чужим.

Егоровна с другой соседкой перенесла умирающую в избу. Вскоре все было кончено.

Глава III

Выписавшись из больницы, Трофимыч первым делом отправился на погост отслужить панихиду по умершей жене.

— Надо бы еще и молебен, — заботливо предложил после службы дьячок. — Поблагодарить бы господу и ангела-хранителя твоего, Иоанна-крестителя, за то, что не до конца взыскал с тебя бог за грехи, а отняв руку во испытание, по великой и щедрой своей милости сохранил многогрешную твою жизнь.

Трофимыч истово перекрестился левой рукой

и отвесил стоявшему рядом священнику низкий поклон.

— Отслужи, батюшка, благодарственное молебствование.

— Похвально, чадо мое, — крикнул священник и, взбив пятерней сивую бороденку, сейчас же возгласил дребезжащим, ничего не выражающим тенорком: — Ми-ир все-ем!

Инвалид опустился на колени перед могилой жены и так, проникновенно уставившись в пространство, оставался недвижим во все время службы.

Наташа и Егоровна тем временем возились в избе, и, когда в сопровождении причта явился отец, на столе уже все было готово к поминкам.

Давившие Трофимыча тоска, уныние и пришибленность с каждой минутой все более убывали. А когда подвыпивший причт пропел «Вечную память» и затем здравицу «дому сему», сердце старика преисполнилось умиления.

Все было, как у людей. И он не последний у бога. Вот кругом сидят ближние, священнослужители поминают в молитвах имя его, относятся с уважением. Нет, не одинок Трофимыч на свете! Весь мир православный — его родная семья. И у всех, и у богатых, и у бедных, один отец — всемилостивый господь, который призрит его в нужде, не оставит убогого раба своего.

Умиленность не оставляла инвалида и после ухода гостей, и во весь вечер.

Примостившись на лавке в красном углу и усадив на колени Мишутку, он долго рассказывал дочери и поденщику о покойнице, вспоминал ее добродетели и под конец принялся вслух мечтать о том, как поженит Кирюшу и Наташу, как будет

нянчить внучат и в «тихости» доживет свои дни.

— А женишься — переменишься, — обращался он к Кирюше с отеческою улыбкою. — Когда ребятки хлеба запросят, позабудешь о правде своей, еще как в ноги-то поклонись и мастеру и прочим всем, кто от хозяина... Так-то вот, Кирилл Афанасьев... Оно куда лучше лаской да уважением, чем дерзостным словом.

Кирюша не возражал, не хотел понапрасну спорить со стариком, который все равно не поймет его правды...

Утром, помолясь, Трофимыч со спокойной душой отправился на фабрику просить полагающееся ему законное пособие.

— Какое пособие? — крайне удивился заведующий наймом и посмотрел на бывшего слесаря, как на сумасшедшего.

— То ишь как — какое? — опешил старик. — За инвалидность мою. Руки-то я на работе решился?

— Ты бы еще спяна голову сунул в ножи!

— Что ты! Петр Петров! Побойся бога... Нешто видал ты меня когда выпившим на работе?

— Ну, пошло! — мягонько ухмыльнулся заведующий. — «Не пью да в рот не беру...» Знаем мы это. У всех у вас одна песня... Ты бы поумней что надумал...

— Дык ведь... Петр Петров! Дык как же это выходит?..

— Так и выходит, старик: пьяным помогать законом воспрещено... Ну, мне недосуг... Ступай себе с богом... А я спорить не стану с господином фабричным инспектором. Он не кто-нибудь, а государем поставлен вашего же брата-рабочего охранять... Понял? Прощай!

В конторе все занялись своим делом и больше не обращали внимания на бывшего слесаря.

Низко свесив голову, Трофимыч ушел.

Два дня просидел он дома, не обмолвившись ни с кем словом и почти не слезая с койки. На третье утро он вдруг засуетился и, наскоро помявшись, отправился в приходскую церковь.

— Благослови, отец Никодим, — сложив пригоршней на животе единственную руку, низко поклонился старик, когда окончилась ранняя обедня.

— Панихиду по усопшей пришел отслужить? Похвально, воистину похвально, чадо мое...

Трофимыч совсем было собрался сказать, что пришел пожаловаться на заведующего и просить пастырского наставления, но священник уже кивнул дьячку, и тот незамедлительно рванул на всю церковь:

— «Благослови, владыко!»

— «Благословен бог наш, — тускло и нехотя, как человек, которому осточертело повторять по скучной обязанности изо дня в день долгие годы одно и то же, вывел горлом священник, — всегда, ныне и присно, и во веки веков!»

— Аминь! — закрепил дьячок и рассыпал горохом по церкви скомканные, прыгающие с пятого на десятое слова из требника.

Окончив, священник благословил инвалида, поставил к его губам руку, зажал сунутый в нее пятак и торопливо ушел.

Трофимыч помялся и робко взглянул на дьячка.

— Или нужда какая ко мне?

— Нужда, Силыч.. Это ты правильно...

Дьячок любопытно прищурился.

— Вон оно чего! — вздохнул он, выслушав жалобу. — Эка напраслину на тебя возвели. Только

ты не поддавайся. Ищи с них. Бог, он правду видит...

— Видит, Силыч... Уповаю на милость его...

— И уповай...

Подумав, дьячок вдруг уверенно тряхнул головой и направил инвалида к известному по всей округе пьянице, бывшему полицейскому писцу, ходатаю по разным тяжбам.

Ходатая Трофимыч не застал дома, а нашел его в одном из кабаков и сейчас же приступил к делу.

— Старшему фабричному инспектору будем жаловаться, во Владимир отпишем, — торжественно изрек ходатай, выслушав жалобщика. — Мы им покажем, будьте спокойны-с!

С тех пор и пошло. Писали и старшему инспектору, и губернатору, и в Петербург, таскался Трофимыч и по судам, но все было тщетно.

— Брось ты эту самую правду искать, — убеждали инвалида старые друзья по фабрике. — Или не знаешь, что с сильным не борись, с богатым не судись? Жди у них своей, божьей, правды у гадов! Как же, дождешься!

Трофимыч только тряс седой головой и упрямо твердил:

— Не может того быть, чтобы не найти правды. Добуду ее. Бог-от все видит. С его помощью самому царю-батюшке отпишу. Он не допустит обидеть правого человека. Всю жизнь проработал. Не вор, не грабитель какой-нибудь, сызмальства у станка стою.

Поиски правды стали насущной потребностью старика, смыслом всей его горькой жизни. С ходатаем он виделся каждый день и, чтобы было чем платить ему за советы, продавал из дому все, что имело хоть какую-то ценность.

В конце концов инвалид и дети его остались почти что в чем мать родила.

Кирюша отдавал Наташе каждую заработанную копейку. Но большую часть этих денег старик выпрашивал у дочери и отдавал ходатаю.

Однажды Трофимыча вызвал к себе Петр Петрович.

— Вот чего, — сочувственно произнес заведующий наймом. — Зря обижаешься. Прямо скажу: зря. Ты думаешь, — пришла беда, отворяй ворота? Ан не так. Ан свет не без добрых людей. Решил я Мишутку твоего в казармы перевести. И харч и угол даю.

Трофимыч низко поклонился.

— Так-то, старина, — после короткого молчания прибавил заведующий. — Бог даст, в окош подаст. Теперь еще Наташу к делу приладить, и живи — не тужи.

Петр Петрович, то и дело пересыпая разговор поговорками, принялся расписывать в самых радужных красках, какое славное житье ожидает Наташу на фабрике.

— А уж насчет того, чтобы обидел ее кто, — не сомневайся. Пока я здесь, муха на лицо к ней не сядет.

Старик съежился и не отвечал.

— А не хочешь, как хочешь, — все так же дружески промолвил заведующий. — И то правда, семь раз отмерь, один раз отрежь. Или, может, получше что нашел? Тебе виднее.

Трофимыч в тот же день рассказал дочери и Кирюше о своем свидании с Петром Петровичем.

— Кто его разберет, может, и впрямь усоветился. Тоже ведь крещеный, не басурман, — сам

не веря своим словам, закончил старик. — Ты как, Кирилл, понимаешь?

Но заметив, как побелело лицо Кирюши, при-
молк.

Укутавшись в измочаленную дерюгу, Наташа поздно вечером вышла проводить жениха.

— Ой, и злобится ветер! — передернул плеча-
ми Кирюша. — Чисто мастер наш Яков Васильев!

Он обнял девушку. Наташа доверчиво прижалась озябшим лицом к его груди.

— Эк метет!.. Не простыла б ты.

— А мне с тобою не холодно.

— Что так?

— Ласков ты...

— Не холодно, а дрожишь... Иди, иди... Ну, про-
щай... Да, постой... позабыл...

Кирюша достал из-за пазухи узелок и тихо про-
молвил:

— Возьми. Тут четыре рубля денег.

— Что ты, Кирюша? — замахала руками девуш-
ка. — То же на могoryч тобой собрано.

— Возьми, говорю. Не пропадать же вам с от-
цом с голоду.

И, всучив Наташе узелок, исчез в темноте.

Чуть забрезжило утро, Трофимыч снаряжился
в путь.

— К ходатаю иду, — заискивающе сказал он. —
Теперь уж дело верное. Все скоро обернется по
правде. Не оставил ли тебе Кирилл вчера денег?
На шкалик бы ходатаю надо.

Наташа после недолгого колебания подала отцу
два семишника. Трофимыч сейчас же отправился
в кабак.

Ходатай опорожнил шкалик, поставленный инва-
лидом, потер пальцами лоб и деловито произнес:

— Я не зря говорил тебе вчера. Я все проведал. Нынче в думе заседание будет, так ты к самому голове шпась.

— Да где уж! — махнул старик обрубком руки. — Нешто пустят меня, такого, туды?

Трофимыч нисколько не сомневался в том, что ничего доброго не выйдет из совета ходатая. И все-таки в душу его влилось что-то похожее на надежду.

Когда наступил вечер, старик стоял уже подле здания думы.

Был жестокий январский мороз. По улицам, в безудержном плясе, с диким воем и визгом, кружился буран. Колючая снежная пыль обжигала лицо, слепила глаза, забиралась во все лохмотья одежды и будто железными когтями скребла тело, сдирала кожу с затылка. Небо хмурилось, разбухало, опускалось все ниже. В воющем полусумраке чудилось, будто дома, фабрики, фабричные трубы, сама захороненная в сугробах земля стонут и корчатся в мучительных судорогах...

В зале заседаний городской думы, на обитом желтою кожей председательском месте, дремогнот шурился городской голова, купец первой гильдии, фабрикант Верденев. По правую руку сидел «ситцевый король» Шумилин, слева — длинный, высохший, живо напоминавший отшельника, фабрикант Карелин.

Против председательского стола разместились десятка полтора гласных.

Заседание подходило к концу.

— Еще два вопроса, господа, — сонно процедил голова. — Об очистке Уводи от фабричных отбросов и о безработных.

— О ком? А? Что? — сквозь сладчайшую зевоту

ту промычал Карелин и маленьким крестиком перекрестил рот. — Не надо.

— А по-моему, нужно решить и с очисткой Уводи и с безработными, — улыбнулся голова. — Который раз все откладываем.

— Как знаете. А мне так не надо.

Карелина поддержало несколько голосов.

— Очистишь Уводь нынче, а завтра то же самое будет. Лишние расходы, а пользы никакой. Не нужно.

— Итак, я голосую. Значит, отклоняется, — произнес привставший Верденев. — Теперь о безработных. Мне думается, хорошо бы поручить чистку улиц и прочих мест артелям безработных.

— Ну, а это уж совсем ни к чему. Вредная затея и ничего больше, — сразу теряя сонливость, резко возразил Карелин. — Я полагаю, надо просить полицию проверить паспорта у безработных и всех пришлых отправить этапом на родину. Одно смутьянство от них.

Карелина поддержали все гласные...

Улица тонула во мгле, когда к подъезду думы подкатила пара рысаков, чуть не сбившая с ног терпеливо дожидавшегося инвалида.

— Пугаетесь тут! — зарычал кучер на старика.

Трофимыч молча отошел в сторону и прижался к стене. Все лицо его, борода, лохмотья одежды были сплошь покрыты снегом. Несколько раз, не в силах больше терпеть, инвалид подходил к двери и чуть приоткрывал ее.

— Пусти обогреться, ради-христа... Замерз...

— Не велено, — отвечал швейцар и прихлопывал дверь.

Но вот наступило время разъезда гласных.

Первым вышел на улицу Верденев.

— Степан Тимофеев! Благодетель! — бросился к нему инвалид. — Заступись. Я тридцать пять годов...

Городской голова гневно уставился на швейцара.

— Это еще что такое? Почему сюда допускаешь? — И, юркнув в сани, ткнул кулаком в спину кучера: — Пшел!

Кони ринулись с места, обдали Трофимыча снежною пылью и скрылись из виду.

— Господи! Что же это такое? — с болезненным стоном вырвалось у старика.

Ему стало вдруг непереносимо страшно. Все надежды рухнули, провалились куда-то в бездонную пропасть, и эта пропасть уже зияла перед ним.

Он растерялся. Куда идти? К кому еще обратиться, когда самое главное, во что он так ревниво, так свято верил, — божья правда, — молчит? Как может бог молчать в такую минуту, когда, кажется, камни — и те вопиют?!

Трофимычу некуда было больше податься. Он остался один. Во всем мире один.

И только теперь, в первый раз за всю долгую жизнь, в душе старика шевельнулось что-то похожее на сомнение. И совершенно неожиданно, наперекор всему существу, в мозгу вспыхнули гневные пророческие слова товарищей по работе:

«Жди у них своей, божьей, правды, у гадов! Как же, дождешься!»

Вспомнился и Кирюша, которого гнали отовсюду с работы за то лишь, что он осмеливался не давать в обиду ни себя, ни других...

И еще вспомнился поздний вечер, когда он, придя домой, застал недавно выпущенного из тюрьмы Кирюшиного друга, печатника кураевской фаб-

рики, Тишку Седова. Гость очень смутился, увидев старика, как смутились и Кирюша с Наташей. Потом все обошлось. Тишка рассказывал о тюрьме, о допросах и, словно бы между прочим, заговорил о прокламации, которую показывал ему жандармский ротмистр.

Шутливо подражая манерам жандарма, Седов зашептал:

— «Читали?» — спросил меня ротмистр. «А про что тут?» — «Ну, ну... Чего уж тут притворяться! Вы отлично знаете, что здесь написано про то, как якобы фабриканты пьют кровь рабочих и выгоняют из них семь потов!» — «Читать не читал, а что парко на фабрике, господин офицер, так это действительно...»

И помалу, помалу повел он со мной речь, как я: уважаю ли власти, в церковь хожу ли, молюсь ли за государя?

«Некогда, — говорю, — господин офицер. Нам не только что бога и государя, иной раз про себя вспомнить времени нет...»

В тот вечер многое еще говорил печатник. Все это вспомнилось теперь старику...

«Чья же правда — истинная правда?» — кольнуло в сознании. Но инвалид сейчас же попытался погасить в себе эту непрошеную мысль.

— Нет, нет, — зашевелил он помертвевшими губами. — Не оставляй меня, боже! Избави мя от лукавого...

И, как бы стремясь избавиться от «наваждения», насколько позволяли слабые ноги, припустился к дому.

С трудом дотащившись к своей избе, Трофимыч в страхе остановился. Сознание, что сейчас он встретит устремленный на него с надеждой взгляд

дочери, казалось непереносимым. Что скажет он ей? Чем обрадует?

Старик прижался к стене и не надолго затих.

Вдруг он настороженно прислушался.

Ветер ли завывает в трубе? Плачет ли кто? И откуда, в эту студеную ночь доносятся тихие шелесты? Но сомнения нет. Трофимыч ясно слышит, как перешоптывается где-то близко листва и как рядом с ним, совсем у ног, мирно журчит ручеек. И на душе у Трофимыча тихо, уютно. Хочется потянуться всем телом, зажмуриться и безмятежно заснуть... А вон и Лукерья выплыла из-за угла. На плече у нее коромысло. Чуть плещется и булькает в ведрах вода. И лицо у Лукерьи румяное, наливное, как когда-то давно, в старые, позабытые годы. И задорно улыбаются ее синие большие глаза. Такие же глаза у Наташи. И улыбка такая же, преданная, сердечная.

Инвалид бросился навстречу жене, из груди вырвался спасительный крик, пробудивший его от зловещей дремоты...

Окоченевший, едва живой, он открыл дверь и плашмя упал на земляной чистенький пол.

Наташа провозилась с отцом до полуночи и улеглась, лишь когда он заснул.

Утром инвалид встал с постели в каком-то приподнятом настроении.

— Не тужи, дочка. Еще далеко до гибели... — объявил он с бодрой улыбкой. — Бог надоумил — пойду в сторожа.

Укутавшись в тряпье, Трофимыч пошел «определяться» в сторожа.

Однако и тут его ждала неудача. На всех фабриках ему говорили одно и то же:

— С богом! Сутыг не берем. И всем скажи:

«кто по судам таскается, те пусть и не суются работы просить».

Оставалось последнее: идти с поклоном на ту самую фабрику, где он проработал большую часть жизни и где под конец так нечестно с ним поступили.

И он пошел.

Петр Петрович встретил его за воротами фабрики.

— Доброго здравия, Петр Петров!

— А, старина! Здорово. Ну, как скрипим? Судимся все?

— Отсудился.

— Да что ты? Вот за это хвалю. Не судите и не судимы будете, как в святом евангелии сказано.

Трофимыч снял шапку.

— Петр Петров! Окажи божеску милость, определи меня в сторожа.

Заведующий нахмурился.

— Пойдем в контору. Зябка тут разговаривать.

Петр Петрович вошел с инвалидом в примыкавшую к конторе комнатку.

— Досудился! Эх, ты! Одно слово, что старый, что малый. То ли бы сразу, честь по чести, по хорошему, пришел, попросил. А теперь как тебя взять, сутягу такого? Может, ты не просто объявился? Может, новую каверзу затеваешь?

Заведующий сложил на животе руки и шагнул к оконцу.

— А еще вот чего скажу. Ты хоть и неладно делал, что сутяжничать стал, только я так понимаю, не по своему злomu хотению таким озорством ты занялся. Потому ты есть степенный человек и бога не забываешь...

И, внезапно распалаясь, закричал:

— На кой ляд, скажи мне на милость, связался ты с этим прощальгой, бунтарем и охальником Кирюшкой Курдюмовым? Неужто другого зятя не сыщешь?.. Да с таким мужем дочка твоя, знаешь, куда понасть может?..

— Куда?

— В острог, вот куда... Да, да... Уж ты поверь... Уж мне известно доподлинно, что он с этими самыми, которые против царя и бога бунтуют, якшается...

— Да ну?!

— Вот те и ну! А то сам будто не замечал? И Седов Тишка к тебе не ходил?

Старик вздрогнул и уже готов был пожаловаться, что сам не раз корил поденщика за «всякие предерзостные его слова», а Тишке запретил ходить к Наташе в гости, но во-время опомнился и только недоуменно развел рукой.

— При мне Кирилл никогда... ни вот на эстолько... ни-ни... ни словечка зазорного. А про Седова и вовсе не знаю... Должно, без меня приходил.

Заведующий пытливо поглядел на инвалида и, сообразив, что на этот раз ничего выведать не удастся, переменял разговор.

— А жалко, что и говорить, жалко тебя.

Широкое лицо Петра Петровича с неожиданно остреньким подбородком подернулось грустью.

— Вот что мы сделаем, — произнес он таким тоном, как будто приготовился осчастливить Трофимыча. — Мы управляющему доложим, что дочка Груднова, отца жалеючи, просит работы... Постой! — резко остановил Петр Петрович бывшего слесаря, заметив, что тот собирается возражать. — Ты слушай, что тебе от души говорят. Дочку твою

мы на работу определим, а там, через время малое опять сунемся к управляющему: «Разрешите, мол, уж и Трофимычу ходить в сторожах». Понятно? Вот так-то: век живи, век учись.

Старик бессильно свесил голову.

— За доброе слово спасибо. Только боюсь, Петр Петров. Не ровен час, обидят девку.

— Обидят? А я на что? А ты чего глядеть будешь, когда сторожем определишься?

С тяжелой душой возвращался Трофимыч к себе. Минутами ему казалось, что он верит заведующему, что все так и будет, как он сулит. Старик, чтобы задержать в себе эту веру, нарочито рисовал в воображении картины — одну заманчивее другой. «А пошто бы и не так? — вслух рассуждал он, помахивая обрубком руки. — К чему Петру Петрову душой кривить? Или креста на нем нету, что сиротку загубит? И говорил по-божески, и глядел душевно». Но такие мысли рождались не в глубинах мозга, а словно приходили откуда-то извне и скользили по поверхности, не затрагивая души.

— Нет! — крикнул Трофимыч, стукнув себя в грудь кулаком. — Как пост пройдет, отдам ее за Никишку... А Петру Петрову под ноги не брошу!

Застав Кирюшу дома в рабочее время, инвалид сразу все понял.

— Выгнали?

— Выгнали, — буркнул Кирюша.

— За что?

— За смущение. Будто народ я смущаю.

— Что же теперь будем делать? — нахмурился Трофимыч и, грузно усевшись на укладку, захватил нижней губой усы.

— Авось, проживем, — вздохнул поденщик. —

Буду до времени господам с базара корзины таскать или где приведется дрова колоть по дворам. А ежели... — Он вдруг страшно смутился, покраснел до ушей. — А ежели благословишь на венец, так и Наташа в прачки пойдет покуда, а погода и на фабрику может.

— Жениться, значит, задумал?

— Не препятствуй, Трофимыч.

— А кормить кто вас будет? Ишь ты, смекалистый экой выискался. Так тебя с корзинами и дожидаются. Нынче от господ в санях да каретах на базары жалуют, а дрова дворники колют. А и прачками пруд пруди.

Он помолчал немного, встал, снова уселся и, захватив в кулак свою бороду, принялся больно дергать ее.

Кирюша, пришибленный отказом старика, собрался уходить.

— Да куда тебя черти несут! — сплюнул Трофимыч. — Иль на улке жить хочешь? Поди, выгнали уж с квартиры-то, беспортошного? А уходишь, так туда и дорога. Утресь же Наташку за Никиту просватаю.

Кирюша от неожиданности даже присел.

— Ну-ну! Я к слову... Погожу еще малость... А ты не смей хныкать. Слышишь, Наташка?! Кому говорю! — И поглядел исподлобья на Кирюшу. — Тут живи покудова что.

Кирюша воспрянул духом. «Не гонит, — с облегчением подумал он про себя, — значит, авось, все добром еще обернется». И не понимая, как это у него вышло, подошел к старику и крепко поцеловал его в седую голову...

Поутру Трофимыч, никому ничего не сказав, отправился к фабрике. Дойдя до фабричного забора,

он остановился, передохнул, неспеша засучил правый рукав и левой рукой перекрестился.

Раздался протяжный гудок. Улицы начали оживать. Отовсюду, с окраин, по разным направлениям, спешили на работу фабричные.

— Гляди-ко! Никак, Трофимыч? — останавливались рабочие. — До чего же это доводят разбойники нашего брата-фабричного!

Запущенный снегом, с высоко поднятой головой, стоял старый слесарь. Левая трясущаяся рука была протянута за подающим, из-под правого рукава жутко проглядывал багровый от мороза, с резко проступавшими белыми следами швов, безобразный обрубок.

Взгляд старика устремился куда-то в пространство. Из груди с хрипом вырывалось дыхание, оно окутывало лицо белой клубящейся дымкой. Ветер трепал лохмотья, тяжело ворочал заиндевевшую бороду, обряжал в снежный саван.

Не глядя друг на друга, рабочие доставали из карманов кто ломтик черного хлеба, кто редьку, кто луковицу, совали подающие за пазуху нищему и, сжав кулаки, шли к воротам.

А на другой день на многих фабриках, в цехах, на стенах, заборах и во дворах чьими-то щедрыми руками были разбросаны и расклеены отпечатанные на гектографе прокламации.

«Товарищи, — читали, прячась в укромных местах, грамотей. — Хотите увидеть судьбу, которую уготовало вам царское самодержавие? Пройдите к фабрике Верденева. Вы содрогнетесь при виде старого слесаря, который тридцать пять лет честно простоял у станка. Тридцать пять лет пили его кровь, выматывали все его жилы ваши хозяева! И вот теперь, когда он, по вине администрации,

потерял руку, когда он больше не способен к работе, хозяева, при полном содействии царского приспешника — фабричного инспектора, выбросили его на улицу, как негодную вещь, и обрекли на нищенство и голод! Товарищи! Мы призываем вас к возмущению. Поднимитесь все, как один, на защиту своих интересов, своей рабочей чести, если не хотите, чтобы вас всех постигла участь Груднова. Поднимитесь, товарищи, на борьбу с ненавистным строем, сделавшим вас рабами. Сбросьте с плеч ярмо подлого самодержавия!»

Полиция забесновалась. В первую очередь был арестован печатник Тихон Седов и его товарищи.

За всеми знакомыми Седова, а также за Кирюшей, была установлена строжайшая слежка.

Глава IV

Кирюша вставал задолго до рассвета и один из первых появлялся у фабричных ворот в чаянии найти какую-нибудь работу. Но тщетно. Заведующие наймом даже не выслушивали его, смотрели, как на прокаженного...

— И нечего зря тут шататься, — сплевывали они с омерзением. — В другом месте смущай дураков...

Худо было и Трофимычу. Деньги, полученные Наташей от жениха, давно уже были истрачены, сам инвалид с каждым днем становился все немогшее, а Мишутка пока зарабатывал столько, что и одного себя прокормить не мог.

Наташа попыталась было просить работы в домах, где занималась стиркой ее покойная мать, но узнавшие об этом прачки задали ей такую головоломку, что она долго боялась показаться на улицу.

— Ишь ты! — шумели бабы. — Здоровая девка, да заместо того чтобы на фабрику итти, у старух последний сухарь отбивает. Эка барыня выискалась, фабрика ей не к лицу.

Ждать больше нельзя было. Голод властно толкал Наташу к фабричным воротам.

И вот, после отчаянной внутренней борьбы, она решилась.

— Кирюша! — прерывающимся голосом обратилась как-то Наташа к своему жениху. — Только не серчай... Слушай, что я скажу...

Кирюша сразу понял, в чем дело.

По впалым щекам Наташи катились слезы.

— Ты не бойся. Я не допущу. Я сильная. Пускай только сунется кто-нибудь, — глаза выцарапаю. Я так рассуждаю: ежели сама не захочешь, никто в грех не введет.

Понемногу успокаиваясь, она принялась обстоятельно доказывать Кирюше, что ничего страшного не случится с нею на фабрике.

— Да и от людей, Кирюша, прохода не стало.

— А им чего надо? Иль своего горя мало?

— Задразнили. При здоровой, мол, девке старик христарадничает.

Она вытерла концом чистенькой косынки следы слез и сложила на груди руки, точь-в-точь как это делала в кручине Лукерья. Ее тело вздрагивало, дыхание вырывалось часто и шумно, на щеках и подбородке, в лад дыханию, то появлялись, то исчезали ямочки. Тихою грустью светились глаза. Вся она была словно выткана из покорной печали. Только обозначавшиеся изредка тени продольных морщинок на лбу и беспокойные пальцы, которые как бы царапали воздух ногтями, выдавали скры-

тое где-то в глубинах сознания протестующее человеческое достоинство.

— Прости, Кирюша... Сил больше нету моих. Не вольны мы с тобой в жизни своей.

— Что ж, — тяжело вздохнул Кирюша, — иди.

Вскоре пришел Трофимыч. Ни с кем не поздоровавшись, он снял шапку, трижды перекрестился на образ, выложил на стол горсточку сухарей и уселся на койку.

Наташа засуетилась подле отца, с трудом сняла с него рваненький ватничек, который подарил ему знакомый слесарь, и укутала с головой в свою кацавейку.

Старик поддавался дочери, но все движения проделывал машинально, словно бы бессознательно, как машинально относился в последнее время ко всему, что происходило вокруг него.

— Отец! — робко произнесла Наташа, когда Трофимыч, похлебав варева, улегся на койку. — Мы тут с Кирюшей хотели сказать тебе...

Он тяжело продрал смежавшиеся веки.

— На фабрику итти хочу... Отпусти, отец.

— На фабрику? — точно в забытьи переспросил инвалид и протяжно зевнул. — Ну-к что ж... Хаживали и мы туды... Без малого тридцать пять годов хаживали.

Слова его путались, теряли смысл, голос слабел, падал. Трофимыч заснул.

Утром Наташа возобновила разговор с отцом.

Инвалид вначале слушал ее с полным безучастием, потом вдруг привстал и насторожился. Трясущиеся пальцы здоровой руки усиленно сжимали висок. В подслеповатых глазах вспыхивали недобрые искорки.

— Как в той сказке, — процедил он сквозь

зубы, — что давным-давно мне бабка сказывала в деревне. Хочешь, я тебе сказку ту расскажу?

И, не дожидаясь согласия, может быть, позабыв уже о том, что его слушают, обратился куда-то в пространство:

— «В некотором царстве, в тридесятном государстве жил-был громадный змий о шести головах. Лютый был змий. Лютый и ненасытный. И никому от того змия пощады не было. День и ночь слуги его верные, гады ползучие, сгоняли на змиев двор видимо-невидимо народу убогого. Народ и пашни пахал, и зерно сеял, и одежду ткал-шил, и сапоги тачал, и все, что ни есть на земле, своими руками работал. А змию все мало было. Вестимо, утроба змеинная — ненасытная. А кто отработался, пожирал того змий. А слуги косточки человеческие в глубоченную яму таскали. И выросла из тех косточек гора превеликая, ажно до самого солнца. А косточки, ежели в тихости пребывают, в те поры засыпает земля, а почнут шевелиться, — и гром загремит, ветры буйные взвоят, задрожит, заплачет мир божий. И стонут косточки неуспокоенные, ждут суда страшного и воскресения. Сказывают люди бывалые — настанет час, и явится богатырь красоты несказанной и вступит в смертный бой с тем змием проваленным и слугами его верными. И единожды размахнется богатырь, — две головы прочь змию снесет. И так три кратно. И когда сгинет змий, кровь от ран богатырских всполыхнется алым полымем, окропит гору великую, и воскреснет убогий род человеческий. И будет тогда великий мир всем людям убогим и в человеках благоволение...»

Блаженная улыбка разлилась по лицу старика. Тесно прижавшись друг к другу, Кирюша и На-

таша устремили ввысь полные светлых мечтаний взгляды.

Трофимыч огляделся по сторонам и вдруг нахмурился.

— Так на фабрику, дочка? — спросил он взволнованно. — Что ж! Выходит, после отца твой черед к змию итти приспел.

Он говорил уже вполне разумно, — от безразличия не осталось и следа.

— Помолимся, значит. А?

И опустившись на колени, приказал то же самое сделать дочери.

На другой день Наташа была принята на фабрику. Петр Петрович устроил ее временно при конторе.

Работа у Наташи была легкая. Утром она подавала служащим чай, ходила по городу с пакетами, выполняла мелкие поручения.

Петр Петрович в своих заботах о девушке зашел так далеко, что даже не разрешал ей помогать уборщице.

— Ты лучше вечерком оставайся прислуживать, — ласково потрепал он ее однажды по щеке. — За день не управляюсь я, мешают тут. То ли дело вечерком: тихонько, спокойненько...

Все шло пока хорошо. Наташа с такой правдивостью говорила отцу и Кирюше о трогательном отношении к ней в конторе, что те начинали и в самом деле проникаться уважением к Петру Петровичу.

Однажды заведующий очень обрадовал девушку.

— Вчера мне мастер говорил, что ему занедался переборщик. Я присоветовал жениха твоего взять, Кирюшу. Парень он как будто старательный. Ты как полагаешь?

И словно от полноты чувств привлек к себе Наташу.

— Вот я какой. А ты меня чураешься, светик мой.

— Да как можно, Петр Петрович. Да я каждый день за вас бога молю.

— Так и надо, красавица. За богом молитва, а за... Петром Петровичем... хе-хе-хе... служба не пропадает... Богу молись, хозяину поклонись. Вот оно как, девушка ласковая.

Чуть прищуренный взгляд темных глаз с нарочитым прямодушием уставился в глаза девушки.

— Ты мне вроде дочки. Так и понимай: вроде бы дочки. — Заведующий тесней прижал к себе всполошившуюся Наташу. Рука его будто невзначай коснулась упругой нетронутой груди и тотчас же, точно в испуге, отдернулась. — Кто к сиротке с добром, к тому и бог с пирогом. Ну, иди, красавица, порадуй Кирюшу. Завтра пускай и выходит.

С тех пор и началось. Едва контора пустела, Петр Петрович тотчас же обнимал девушку и уводил к себе в комнатку.

Не дай бог, если Наташа вздумывала сопротивляться. Заведующий тогда преисполнялся негодованием.

— Это что еще? — с видом оскорбленного самолюбия выкрикивал он. — И почему это у вас, у девок, всегда только один блуд, одни пакости на уме? Отеческих чувств не понимаете!

Но как ни охаживал Петр Петрович Наташу, как ни старался приручить ее, ничего не выходило. Чуть руки его обвивались вокруг стройного стана, Наташа сразу деревянела, становилась чужой, холодной.

Однажды Петр Петрович, оставшись с глазу-на-глаз с Наташей, торжественно объявил:

— Ну, душенька, поздравляю.

— С чем, Петр Петрович?

— С переводом Кирюши на постоянную. Урезонил я-таки Якова Васильева. Баста! Довольно ему в поденщиках мыкаться. Теперь уж на свадьбе вашей во как погуляем.

Ну, как же можно было по такому, великому случаю не пригубить появившийся вдруг на столе стаканчик?

— Пей до дна, — приставал заведующий. — За полную жизнь. Зачем зло на дне оставляешь?

Петр Петрович низко поклонился.

— Пей-ко, попей-ко, на дне копейка. А до дна попьешь, там и грошик найдешь. Пей, говорю, коли хочешь, чтоб я в посаженных ходил.

— Мутит! — захлебнулась Наташа и внезапно почувствовала, как все закружилось перед глазами.

Было около полуночи, когда Наташа очнулась. В первую минуту ей показалось, будто лежит она дома, в своем углу. Она взгляделась в темноту. Нет, не дома. Но куда же ее занесло? И почему так трещит голова?

— Где я? Кто здесь?

— Проснулась? Не бойся, это — я, Петр Петрович.

И вдруг к ней вернулось сознание. Она вскрикнула и упала с дивана без чувств.

Заведующий приоткрыл дверь. В контору вошел сторож.

— Воды... Да живо...

— Тут-с, Петр Петрович. Так что с вечера при-
готовил.

Когда Наташа пришла в себя, заведующий при-
казал поскорее одеться и у выхода больно сжал
ей руку.

— Дело прошлое. Что с возу упало, то пропало.
Мой совет тебе таков: ешь пироги с грибами, а
язык держи за зубами.

Она с отвращением выдернула руку и открыла
дверь.

— Добром говорю: скажешь кому-нибудь, сама
же сраму не оберешься, — не тебе поверят, а мне.
Скажу, что оболгала, и все тут. Ты помни отцов-
скую тяжбу.

В прихожей он склонился к Наташе и уже мяг-
че прибавил:

— И чорт его знает, как это меня нечистый
попутал. Однако не печалься, не забуду тебя...

Заведующий порылся в кармане и достал голов-
ку чеснока.

— Пожуй вот. Здорово винный дух отшибает...

Глава V

По дороге домой Наташа бесповоротно решила
рассказать Кирюше всю правду. Он, конечно, все
поймет, пожалеет, простит. А если осудит, — что
ж! Тогда еще лучше. Тогда прямо в прорубь — и
конец всему.

Так рассуждала она почти с полным спокой-
ствием, но в то же время рука ее, как бы по
собственной воле, нащупывала в кармане чеснок,
пальцы отламывали дольку за долькой и подно-
сили ко рту.

Кирюша, взволнованный долгим отсутствием не-

весты, давно уже поджидал ее в одном из переулков.

— Почему так замешкалась? Не приключилось ли чего?— еще издали крикнул он, узнав Наташу.

— Да ну их! Замаялась с ними! — совершенно неожиданно для себя солгала она. — Все там на счетах выкладывали да бумаги писали, а я им служи.

— Известное дело, живоглоты! — сплюнул переборщик. — Так и нороят день и ночь работой морить.

Объяты жениха обожгли девушку, пронизали душу непереносимо едким стыдом. Еще мгновение и она бросилась бы на колени и выпалила всю страшную правду. Но она уже не владела собой. В нее как бы вошла чуждая, неумолимая сила и по собственному почину, как только хотела, распоряжалась разумом, чувствами, волей.

— Я так, Кирюша, надумала: довольно нам маяться. Ты теперь на постоянной. Я тоже кое-что добываю. Пора подумать и о венце.

С той самой ночи, однажды солгав, Наташа уже не могла, не смела остановиться.

А Петр Петрович только и знал, что запугивал всячески девушку и грозился выбросить на улицу и ее и переборщика, едва услышит что-нибудь, «поносящее его доброе имя».

Весь день Наташа жила точно в бреду. Но мучительней всего было, когда наступал вечер и расходились служащие.

Ни жива, ни мертва, она готовилась к пытке.

Вот сейчас, с бесстыдной усмешечкой, выглянет из комнатухи заведующий, поманит к себе, потом возьмет двумя пальцами за подбородок, прищелкнет языком и махнет ладонью по лицу.

— Эх ты, дышленочек... Да ну, не куксясь! Целуй, что ли, барыня лапотная!

Жестокая обида, бессильная злоба и страх, животный, панический страх перед заведующим придавили ее тяжелым надгробием, помутили рассудок.

Так продолжалось несколько месяцев, пока девушка не приелась заведующему. И вот, он начал держать ее в черном теле, придирался и, чуть что, грозил прогнать с работы и обо всем рассказать Кирюше.

Наташа похудела, по лицу ее пошли какие-то желтые пятна, она стала раздражительной, нелюбезной со всеми, даже с женихом.

— Да что с тобой? Словно подменили тебя, — приставал переборщик. — Уж не обидеть ли тебя кто хочет?

— А ежели и так, — ты, что ли, вступишься?

— Голову размозжу!

Она криво усмехалась, ноздри ее широко раздувались, и на лбу резче проступали продольные тени морщинок.

— Нет, я так... В шутку... Кто же меня обидит? Всякий, небось, знает, какой ты лютый всердцах.

В один из праздников, по выходе из церкви, Наташа столкнулась с Егоровной.

Старуха пристально поглядела на девушку и скорбно вздохнула.

— Ай, ай, дела-то какие! Как вышло-то худо: тяжелая ты.

Наташу словно донага вдруг раздели.

— Да ты никак спятила?!

— Ладно, красавица, не петушись. Сами с усами. А ты лучше, покуда не поздно, скинь. Приди поклонись. Я и помогу.

И, склонившись к уху обескураженной девушки, принялась что-то строго нашоштывать.

Только теперь Наташа поняла, какое свалилось на нее новое горе. Да. Старуха права. Все признаки налицо. Наташа несомненно беременна. Но сознаться? Рассказать Егоровне о позоре своем? Чтобы весть эта добралась до Кирюши! Ни за что.

Наташа зло оттолкнула старуху.

— Клевещешь. Не может приключиться со мною такая беда.

— А ты не серчай. Нет, так нет. На нет — суда нет. Одначе я тебе по-божески, от души говорю. Смотри, поздно бы не было.

И, погладив Наташу по щеке, засеменяла к какой-то шедшей поодаль женщине.

— Павловна, здравствуй! С праздничком! Вот к месту-то повстречались. А я было к тебе собиралась. Правду ли, нет ли про купчиху Евстигнееву бают, будто она...

Больше ничего нельзя было разобрать. Старухи замешались в толпе.

Кирюша обомлел, увидев вернувшуюся домой невесту.

— Ты погляди на себя. В гроб краше кладут! Наташа через силу улыбнулась.

— Это от духоты... Церковь полна народу была. И забила в свой угол.

Началось самое страшное. Надо было во что бы то ни стало что-то придумать, избавиться от того, что с каждым часом все настойчивее заявляло о себе. И куда же оставалось итти, как не к Егоровне?

Так Наташа и поступила. В первый раз она забежала к старухе будто невзначай, потом явилась за каким-то советом и вскоре все свободное время начала проводить у соседки.

Егоровна ни о чем не допытывалась. Она прекрасно знала, что как ни верти, а дело ее рук не минует, что не нынче — завтра Наташа сама все выложит перед ней, как на ладони.

— А бывает и так, — обмолвилась как-то Егоровна в припадке искреннего сожаления к девушке. — Да вот недалече итти, Груньку гундосую знаешь? Ту, что о залетошнем годе своей золовке в отместку мыша в щи подкинула... Так она что содеяла? Чуть заметила, что брюхо того, и почала тяжеленные бревна да камни ворочать. И выкинула... Ей-пра, девонька, выкинула.

Наташа ухватилась за спасительный совет. Едва забрезжило утро, она была уже в конторе и сейчас же принялась передвигать с места на место тяжелые шкапы с бумагами, диван, столы. Мгновениями она чувствовала в пояснице тупую боль и тогда, преодолевая страдания, еще с большим напряжением ворочала мебель, взбиралась на стол, грузно прыгала с него, снова взбиралась и снова прыгала.

Так проделывала она целую неделю. Но все было тщетно.

А время брало свое. Все чаще слышала Наташа двусмысленные замечания, насмешечки, и все подозрительнее устремлялись на ее чуть поплневший живот ехидные взоры.

Наконец, поняв, что ее тайна становится достоянием улицы, девушка после долгих колебаний отправилась с поклоном к Егоровне.

Избавившись от «позора», Наташа сразу стала спокойней. «Слава богу, — облегченно вздохнула она. — Теперь никто не узнает».

Собственно, под этим «никто» подразумевались

не окружающие, и даже не отец, а один-единственный во всем мире человек — Кирюша. Она готова была принять какие угодно муки, умереть самою лютою смертью, только бы не дошла до жениха и не убила его душу страшная тайна.

С трудом добравшись домой, Наташа сейчас же улеглась в постель. Она не заметила, как забылась, а когда очнулась, наступил уже вечер.

Вот пришел и Трофимыч, после долгой молитвы зажег лучину, поужинал холодными пустыми щами, потом томительно медленно разделся и наконец улегся. Стихли и уличные шумы, землю окутала ночь.

«Что же это с Кирюшей? — тревожно зашевелилось в мозгу девушки. — Где он запропастился?»

Время шло, а Кирюши все не было. С каждой минутой Наташей все больше овладевал ужас. «Неужто прознал? — металась она в постели. — Неужто Егоровна выдала?»

Но Кирюша не приходил не по своей воле. Вечером, после работы, получив в одном из окраинных домиков пачку листовок и баночку с жидким тестом, он, крадучись, принялся расклеивать прокламации на заборах.

За этим делом и поймал его охранник, ходивший по его следам неотступною тенью больше двух месяцев.

С тех пор никто больше не встречал переборщика в городе...

Провалявшись два дня в постели, Наташа отправилась на работу.

В конторе она застала одну из бывших своих подруг.

— Ты чего тут, Груша?

— На работу вступила... Петр Петрович как

увидел меня за воротами, так сразу и определил к себе в контору.

Вскоре явился и заведующий.

— Ага! Барыня наша пожаловала, — прошипел он презрительно. — Кто позволил без спросу гулять?

— Занеможилось... Сами знаете...

— Ничего я не знаю! Нам тут гулены не требуются. На дворе будешь с сего дня работать.

Лицо девушки исказилось в мертвенной судороге.

— Гу-ле-на?! — чуть слышно выдохнула она и схватилась руками за грудь. — Вы ли та-кие слова...

— Ну, ну! Нечего тут... Знаем мы вас... Все вы святые... А не хочешь, — вот бог, а вот и порог.

И, строго оглядев притихших конторщиков, осанисто зашагал в свою комнатку.

Не помня себя от жестокой обиды, Наташа, пошатываясь, как пьяная, вышла из конторы и вскоре скрылась за воротами.

За прогул ее выгнали с фабрики.

Трофимыч ни словом не обмолвился с дочерью о случившемся и держался так, будто ничего не замечает.

Только однажды, застав Наташу в слезах, он надулся и проворчал в нос.

— Хнычет все... Не видал я что-то, чтоб слезами люди кормились.

Наташа поняла намек и утром отправилась к первой попавшейся фабрике искать поденной работы.

— Встречайте гостыюшку дорогую! — расхохо-

талась какая-то баба.— А мы-то тут ждали-заждались. Поднесите-ка ей на блюде работишку!

— Отойди ты! — вступилась за девушку другая женщина. — Не видишь, — не в себе девка... Чего пристаешь?!

Наташа потолкалась у фабричных ворот и, ничего доброго не дождавшись, пошла к другой фабрике, потом к третьей, четвертой.

Отчаявшись найти работу, она до самого вечера бесцельно бродила по городу, не зная, что делать с собой, куда убить время.

В одном из переулков, далеко впереди, девушка увидела отца, который шел, очевидно, домой.

Она хотела догнать его, но внезапно остановилась.

«Домой? — подумалось ей с горькой усмешкой. — Снова забиться в угол затравленным зверем, наедине со своими тяжкими думами? И так сегодня, завтра, всю жизнь мучиться без надежды забиться когда-нибудь!»

Какой теперь дом у нее? Все отнято, разбито, затоптано в грязь... А что Кирюша сидит за решеткой, так это, может быть, для него даже лучше. По крайней мере, он хоть не узнает про страшный обман.

Наташа была уверена, что ее разоблаченная тайна подействует на переборщика в тысячу раз сильнее, чем самая злая неволя.

«Нет! — лягнула она вдруг зубами. — Пускай бы лучше узнал и убил».

И, резко свернув от Трофимыча, бросилась к тюрьме.

Она долго бродила по тюремному переулку, с напряжением вглядываясь в зарешеченные темные окна, пока решилась негромко окликнуть Кирюшу.

В то же мгновение подле нее очутился солдат. — Тебе тут чего? Ну-ка,шла прочь отсюда! Девушка испуганно вздрогнула, точно очнулась от забытья, и юркнула за угол.

На одной из ближайших улиц ее остановила какая-то женщина.

— Эвона, где краля моя прохлаждается!

Наташа узнала бабу, которая встретила ее утром с насмешками.

— Ну, вот уж и нюнить собралась! Да пошли ты их всех к чортовой матери. Да плюнь ты на них. Такая уж наша бабья доля. Зря слезы льешь... Всем нам таковский конец... И не хнычь. Выпей лучше, запей тоску-то.

«Может, и впрямь напиться? — мелькнуло в мозгу. — Нешто залить горе вином?»

— Да не стой ты! Гайда! Так закружим с тобой. — дым коромыслом пойдет!

И почти силой увела Наташу в кабаk.

Глава VI

Кирюшу обвинили в принадлежности к тайной организации, «стремящейся к ниспровержению существующего строя», и сослали на восемь лет в Сибирь.

Но ни мучительные хождения по этапам, ни упорная борьба за голодное существование, ни долгие годы разлуки не могли погасить в его сердце образ любимой девушки.

Нет, видно, пустое говорят люди, будто время самый чудесный лекарь на свете. Время — лекарь для тех, у кого душа мелкая, кому не дано носить в сердце своем истинный, немеркнущий вечный пламень любви.

И вот, после восьмилетней разлуки, покорный непреодолимому желанию увидеть Наташу, Кирюша отправился в далекий путь.

Через три с лишним месяца он добрался до желанной цели и, не передохнув, прямо от заставы зашагал к избенке Трофимыча.

На его стук вышла какая-то незнакомая женщина.

— К Силантычу? Еще не пришел.

— Нет, не к Силантычу, — нерешительно помялся Кирюша. — А хотел я тебя спросить про... Не знаешь ли ты про На... про Трофимыча.

— Э, дядька, куда хватил! Еще о прошлом лете преставился.

Она перекрестилась и любопытно уставилась на гостя.

— А ты ему родичем будешь?

— Племянник, — солгал Кирюша и, набравшись духу, чуть слышно вымолвил: — А не слыхала ли ты про... — Но снова осекся и почувствовал, что не в состоянии произнести любимое имя.

— А с сыном-то его, с Мишей-то, кака лиха беда приключилась... Не слыхивал?

— Нет, не слыхал.

— Да, вишь ли, горе какое. — Женщина понизила голос до шопота. — Два года тому уж. Жил он здесь с другим кузнецом, пришлым одним. Ну, вот. По-хорошему жили — не пили, не куралесили. И вдруг, на-кось, откуда ни возьмись, однава ночью нагрянули жандармы. Миша с тем, другим, — люди погода сказывали, — листами будто занимались какими: противу царя восставали да против хозяев наших смуту водили. Старик, было, царство небесное, когда сына-то повели, как вскочит, — сказыва-

ли — да как закричит, да юродой рукой своей прямо в лик норовит охвицеру. Ну, и его тоже, было, в острог. Только утром ослобонили, — что с него взять с убогого, старого. С той поры и заскучал Трофимыч. Так и помер, сам будто не свой, упокой, осподи, душу раба твоего...

Из избы донесся плач ребенка. Женщина бросилась к двери.

Когда она вышла снова, Кирюши уже не было. Страх, что, может быть, ему сейчас расскажут что-нибудь недоброе про Наташу, погнал его прочь.

Долго бродил он по городу в тщетной надежде встретиться случайно с Наташей, а когда день начал клониться к закату, поплелся, разбитый, на ночлег в рощу — давнюю обитель всех пришлых людей.

Выбрав уголок поглуше, Кирюша опустился на землю и зарылся лицом в желтеющую траву.

В стороне слышались неясные голоса, обрывки песен.

— А да ну вас к ляду, чертей! — сипло крикнул кто-то почти над самым ухом Кирюши. — Надоели! К этому пойду, кажись, новенький, авось, шкалик поставит.

И тут же, рядом с Кирюшей, развалилась оборванная, с опухшим от пьянства лицом, гулящая баба.

— Эй, миленок! Что в землю зарылся? Аль плоха невестушка я? Ставь шкалик, что ли!

Кирюша приподнялся на локте.

— Я, тетка, непьющий...

— Ну, это дело можно поправить! Я нау...

Баба вдруг оборвала на полуслове и как-то жалко вся съежилась.

— А впрочем, — после долгого молчания заше-

велила она побелевшими губами, — можно и без вина.

— Есть не хочешь ли? — стараясь сдержаться, но вздрагивая всем телом, как от озноба, пробормотал Кирюша.

Она приняла от него ломтик сала с хлебом, откусила краешек и вдруг поперхнулась.

— Что-то не хочется.

— Кушай, кушай, пожалуйста.

Женщина послушно зажевала. Но кусок не лез в горло. Она давилась и насильно глотала. Давилась и ела.

— Да!.. Вот как!.. Так-то... Ты кушай. Что ты сказала? И мне покушать? Спасибо, не хочется, недавно закусывал... Вон оно как, значит, живем... — едва слышно шептал Кирюша, глядя куда-то в пространство. — Ты кушай, кушай.

— Спасибо, ем... Так, выходит, значит... живем... — в свою очередь зашептала баба.

Он придвинулся близко и положил руку на ее взъерошенную, давно не мытую голову.

— Уйти бы отсюда... Забыть про все и... вместе уйти... Ты не плачь... не надо... Не плачь... Тут не слезами надо... Тут...

— А сам зач-чем плач-чешь?

— Что ты? Это так у меня...

Женщина внезапно решительно поднялась.

— Ну, прощай... Мне время итти...

— Нет! — крикнул Кирюша окрепшим вдруг голосом. — Не пущу!.. Я вырву тебя из погибели! Ты все забудешь... Я поведу тебя к таким людям, которые... выведут тебя из неволи...

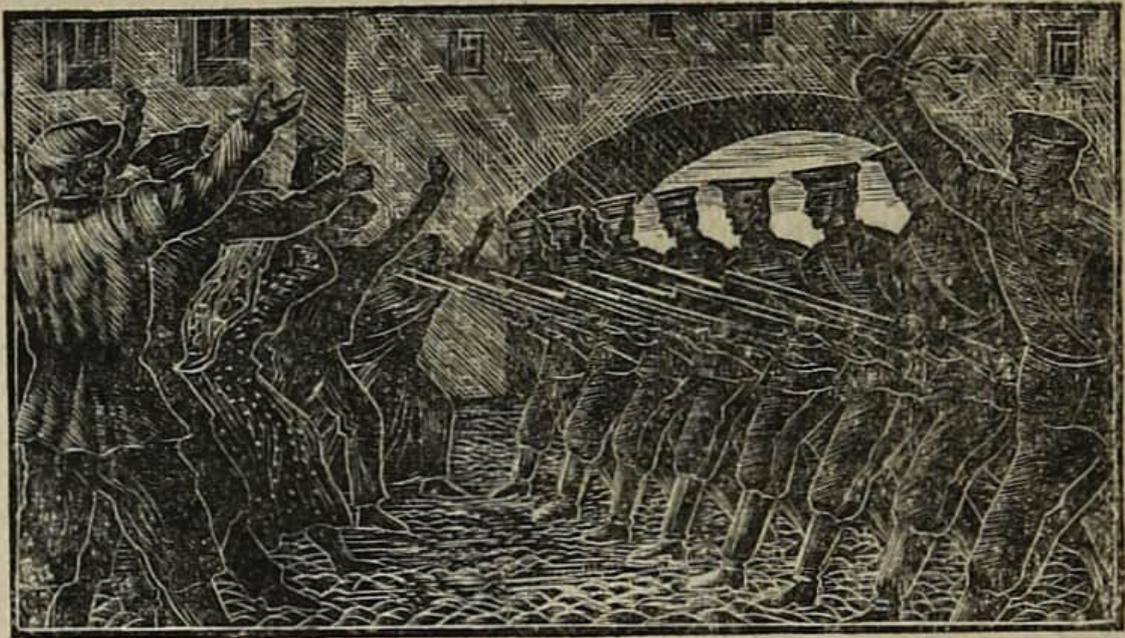
— Куда поведешь? Пропащая я... Нету дороги мне... Прощай... Кирилл Афанасьев...

Она пристально, с великой любовью и нечеловеческим страданием во взоре поглядела на него, как глядят в последний раз на самого близкого в мире друга, тело которого сейчас опустят в могилу, и, сгорбившись, тихо зашагала в чащобу.

— Наташа!

Не откликнувшись, несчастная скрылась за темными соснами.

Кирюша бессильно опустился на землю...



В СИТЦЕВОМ ЦАРСТВЕ

Глава I

Иван Иванович Добров хоть и не оставил прямого наследника, все же умер спокойно, — попечение о своей фабрике он передал в надежные руки. Сам бог послал ему сущий клад в лице бухгалтера Василия Петровича Мельникова.

Бухгалтер не только отлично знал фабричное дело, не только всей душой был предан семье Добровых (это бы еще полрадости), но, самое главное, считался в Иванове большим поборником всяческих новшеств и при всяком удобном случае неизменно твердил:

— Почему, извольте видеть, англичане начали вытеснять наши ткани? А потому, что у них машины. Машины у них, вот что-с. Вот я и говорю:

без машин пропадем, проглотят нас англичане, как щука того карася...

Иван Иванович, уже тяжело больной, с наслаждением слушал рассуждения Мельникова с машинах и мечтательно вздыхал:

— Даст бог здоровья, все по-новому заведу. Машины, Василий Петров, по нашему времени, воистину все.

Но слова покуда оставались словами. Едва бухгалтер уходил, как тотчас же в сердце Доброва прокрадывался мучивший его всю жизнь червь нерешительности и сомнения. «Машины ставить, — морщился он, — это что же выходит? По-новому переучиваться? А пока переучимся, как жить будем? А вдруг, пока учишься, стотысячники не хуже тех англичан тебя как карасика счавкают?»

И, скрепя сердце, Добров продолжал жить по старинке, выжидая чего-то и сваливая свою нерешительность на затяжную болезнь.

Однажды Василий Петрович пришел к хозяину сам не свой.

— Иван Иванович! Дела-то какие! Буркин новой диковинкой обзавелся — цилиндренную машину купил. Двести пятьдесят набойщиков заменяет. Я как взглянул на нее, так возопреп даже. Ей-богу. Сущие страсти господни.

— Двести пятьдесят человек? — взволновался Добров. — Да быть не может того! Смеется над тобой Буркин.

Мельников принялся с таким жаром расписывать достоинства машины, что фабрикант не выдержал и пожелал лично поглядеть на «заморское чудо».

Его почти на руках вынесли на двор и, усадив в карету, повезли к Буркину.

Цилиндренная машина представляла собой боль-

шой деревянный стан, на котором был укреплен восьмипудовый чугунный вал, заменявший собой пресс. Под чугунный вал вкладывались медные цилиндрические валы с выгравированным по всей поверхности их узором. Миткаль, который предназначался для набивки, заранее сшивался и сматывался с особого вала бесконечной лентой.

Добров был сражен.

— Вот это да! — вытаращил он глаза. — Вот это так штука! Завтра же такую выпишу.

Но на другой день, когда Василий Петрович напомнил о машине, фабрикант беспомощно покачал головой.

— Ужотко, бог даст, поправлюсь, тогда и дня ждать не стану. Всем обзаведемся тогда, как тому быть теперь полагается. А сейчас не могу ничем заниматься... Слаб стал...

Он закрыл глаза и сложил руки крестом на груди.

Затаив дыханье, Мельников на носках вышел из комнаты.

К вечеру больной до того ослаб, что пришлось вызвать священника. Пособоровавшись, Иван Иванович поочередно обнял жену и единственную свою дочь Татьяну.

— Так-то, — с прискорбием уставился он в потолок. — Кончаюсь, родные... Только не надо плакать... Из праха взят и... Не надо. — Передохнув, он собрал весь остаток гаснувших сил и прибавил: — Помни, Катерина Осиповна, и ты, дочка, помни. Я всю жизнь грошик к грошику... Сберегите же фабрику... Василия Петровича слушайте... Машины... В машинах вся суть...

И не договорил. Вдруг лицо его взбухло и посинело от приступа тяжелого, больше трех лет мучившего его, удушья.

Екатерина Осиповна с непостижимой для ее тучности резвостью сорвалась с места, прямо из горлышка графина набрала в рот воды и шумно брызнула на грудь мужа.

Больной даже не пошевелился. Лишь широко раскрытый рот еще больше раздался, а на правом виске вздулась иссиня-мутная жила.

Чуть скрипнула дверь. В комнату просунулась взлохмаченная рыжая голова. Далеко расставленные глаза испуганно и в то же время подобострастно уставились на хозяйку.

— Кто там? — с такой неожиданностью и так резко произнес Добров, что все вздрогнули. — Ты, что ли, Петрович?

Бухгалтер неслышно шмыгнул к постели.

— Я, Иван Иванович. Как изволите здравствовать?

— Кончаюсь, Петрович.

Мельников отшатнулся и негодуя затряс густой бородой.

— Увольте, Иван Иванович! Не могу слушать такое! И думать не думайте!

По высохшему лицу умирающего скользнула горестная улыбка.

— Нет уж... все под богом ходим... Чего уж обманываться!

— Вот и я про то говорю. Все под богом ходим, действительно. И не нужно загадывать, кому когда срок...

— Ладно, — сухо остановил его Добров. — Ты вот чего... Где Таня? Подойди сюда, дочка. — Он вложил руку девушки в руку обомлевшего бухгалтера. — Не дал мне наследника бог, так уж, видно, того... Живите с миром...

Он умолк. Тело как-то по-неживому передернулось и вытянулось.

Охваченная ужасом Таня с воплем бросилась вон из комнаты.

Екатерина Осиповна грузно опустилась на колени и прильнула головой к груди мертвого мужа.

Глава II

Похоронив хозяина, Мельников с удесятеренным усердием принялся за работу. Екатерину Осиповну он пока что не тревожил делами, — по вечерам заходил к ней для того лишь, чтобы помянуть добрым словом покойника и по мере сил утешить вдову в ее горе.

Татьяна избегала встреч с бухгалтером: едва услышав его приторно-сладкий голос, она торопливо убегала к себе.

Но по всему было видно, что Екатерину Осиповну и, как это ни странно, самого Василия Петровича мало огорчало отсутствие девушки. Без нее они чувствовали себя словно бы свободней, неприужденней.

Устроившись в зале, хозяйка и бухгалтер принимались вполголоса говорить о покойнике и его «ангельской душеньке».

Екатерина Осиповна постепенно смолкала и, упершись тройным подбородком в кулак, предоставляла разливаться во-всю Василию Петровичу.

Бухгалтер подсаживался чуть ближе и незаметно переводил разговор на «добродетели» самой Доровой.

Иногда, набравшись смелости, он брал ее потную руку и благоговейно подносил к своим оттопыренным мясистым губам.

— Одна вы теперь у меня, — с упоением шептал он. — Был Иван Иванович надеждой моей, теперь вы остались, досточтимая Катерина Осиповна.

От таких слов на обвисших щеках Добровой проступал багрянец и заплывшие глазки совсем закрывались в блаженстве. Но руку она все же высвобождала и, пыхтя, вместе со стулом отодвигалась в сторонку.

Мельников сразу приходил в себя и тревожно приподнимался.

— Мне, однако, пора. И вам время уже на покой. Умаял вас разговорами.

— А то посидели бы, Василий Петрович.

Он снова усаживался рядышком и преданно заглядывал в чуть приметные щелочки ее глаз.

Так, уже без слов, лишь время от времени «чувствительно» вздыхая, они часто засиживались до поздней ночи...

Незаметно прошло сорок дней со дня смерти Доброва, а с ними и срок положенного обычаем строгого траура.

Екатерина Осиповна как будто немного ожила, повеселела, стала изредка выходить и все чаще, правда, пока еще между прочим, справлялась у Мельникова о делах.

Бухгалтер уверенно ухмылялся.

— Будьте спокойны, досточтимая Катерина Осиповна. Все на своем месте, изволите видеть. У меня все под ажур-с.

Но ограничивался он только словами и ни разу не догадался познакомить хозяйку с подробной отчетностью.

Екатерина Осиповна наконец не выдержала.

— Хоть я женщина темная и к делам непривычная, а хочешь — не хочешь, просветиться бы

надо. Вы бы, Василь Петрович, ведомости мне показали свои.

— С нашим удовольствием, — немного растерявшись от неожиданности, пробормотал бухгалтер. — У меня все на месте.

И сбегав в контору за папками, разложил на столе целые груды ведомостей, таблиц, инструкций, распоряжений.

У Добровой зарябило в глазах.

— Спаси и помилуй! Нешто тут понять что моим бабьим умом?

Однако она с большим вниманием и не без некоторого удовольствия выслушала доклад о том, что в прошлом, 1867, году на фабрике было выработано из чужого сурового миткаля тридцать одна тысяча кусков ситца на семьдесят шесть тысяч рублей серебром.

— Сколько же человек всю эту уйму сработали?

— Да не так, чтобы уж очень-то много. У нас всего-навсего трое приказчиков, один колерист, по одному раклисту и красильщику да еще уборщик. А чернорабочих — восемьдесят шесть человек. Кроме того, есть еще гравер и машинист. В аккурат людей, можно сказать.

Вдова неожиданно помрачнела.

— Может, я говорю непонятно? — встревожился Мельников. — Так я сызнава все могу.

— Куда уж понятней! А только страх меня взял. Как я всю эту премудрость бабьим своим умом одолею?

«Эка, прости, господи, жирная!» — брезгливо поморщился Мельников, но вслух сладенько процедил:

— Да что вы! Да при вашем уме-с... Не сомневайтесь... Все так точно постигнете...

Она одним глазком взглянула на Василия Петровича и чему-то вдруг ухмыльнулась.

Мельников сделал вид, что ничего не заметил, и почтительно склонил голову.

— При мне как за каменной стеной, досточтимая. Как, — царство небесное, — покойнику, так и вам буду верой и правдой.

Они долго говорили в тот вечер о фабрике, точно наметив, какие машины нужно приобрести неотложно и сколько выпустить в ближайшие месяцы ситца. Только об одном ни разу не вспомнили: о той минуте, когда Иван Иванович соединил руки бухгалтера и Татьяны.

За оживленной беседой ни Доброва, ни Мельников словно бы не заметили, как близко, почти вплотную, подсели друг к другу.

«Круши! — то и дело подбивал себя Василий Петрович. — Кто смел, тот двух съел. Область ее, куда дается».

И, отважившись наконец, робко коснулся локтем локтя хозяйки.

Она не только не отстранилась, как делала это раньше, но и сама тесней прижалась к нему.

По лицу Екатерины Осиповны бухгалтер ясно видел, что его дело «клюет». Да Доброва и в самом деле с каждой минутой начинала держаться все откровеннее. Она почти в-открытую любовалась своим служащим и невольно сравнивала его с покойником. «Ну, разве ж не молодец? — вертелось в мозгу. — Ну, разве ж не настоящий мужчина?»

Куда уж было Ивану Ивановичу до Мельникова! Иван Иванович ходил сторбившись, и не ходил, а скорее волочил за собой тонкие, как жердочки, ноги, лицо у него всегда было великопостное, он часто брюзжал, вечно жаловался на недомоганье и

ко всему этому в последние годы и вовсе переселился в отдельную комнату...

То ли дело Василий Петрович! От него так и пышет непочатыми силами. Коренастый, нескладно скроенный, зато крепко сшитый. Грудь — наковальня. Дышит — как словно тебе мехи кто раздувает. Руки — кузнечные молоты. А в глазах столько огня, что рядом сидишь — и то жарко становится.

Ну как устоять слабой, неизбалованной женщине против такого искуса? Да и где это сказано в конце концов, что человек должен от своего счастья отказываться? Что мешает Екатерине Осиповне хоть на склоне дней пожить в полное свое удовольствие?

И Доброва жалась к бухгалтеру, закатывала истомно глазки, кокетливо поджимала тонкие губы, ни с того, ни с сего принималась густым баском хохотать или взвизгивала неожиданно тоненько, совсем как это делают молоденькие крестьянские девушки, когда их ущипнет какой-нибудь сердцеед.

Василий Петрович торжествовал. Подумаешь, какая беда, что Татьяна прячется от него, а если встретится невзначай, смотрит волком. Очень нужна ему сутулая, болезненная, вялая девушка. Только всего и достоинств у нее, что восемнадцать лет отроду да тридцать тысяч, которые отписал ей отец.

Нет уж, простите. Не такой дурак Мельников, чтобы прельщаться пустяками. Ему впору не Татьяна, а сама Екатерина Осиповна Доброва.

Василий Петрович горячо дышал в лицо Добровой и нарочито жадно раздувал ноздри, а сам продолжал расчетливо все обдумывать. «Тяжела, ой, тяжела, — вздыхал он про себя. — Пудов на восемь

будет, не меньше. Да, воистину бог приберег, что вдоль, что поперек, — прямо, страх пробирает. И годков, видать, под шесть десятков вот-вот подойдет...» Он встряхивался и тут же разбивал себя самого: «А наплевать. Зато фабрика ее собственная, дом ее собственный, все капиталы Ивана Ивановича ее собственные. Ну, и нечего выбирать, не с лица воду пить».

Но чувства меры бухгалтер все-таки не терял и действовал осторожно, с подходцем. Он говорил о своей «загубленной молодости», о том, как родители женили его на нелюбимой, как жена «измывалась» над ним, даже находясь на смертном одре, или внезапно принимался мечтать о тихой семейной пристани, о женщине, которой он отдаст всю «нетронутую» любовь.

Екатерина Осиповна сладостно жмурилась от полноты чувств и так шумно дышала, что слышно было в угловой комнате, у Татьяны.

Время от времени вдова поднималась и с заботливым выражением на лице выходила «проведать» якобы дочку.

Едва переступив порог, она, сколько позволяло тучное тело, бежала к зеркалу, плевала на пальцы, накручивала на них выбившиеся из-под косынки жидкие прядки волос, вылиwała подмышки и на могучие складки шеи с полфлакона остро пахнувших духов и солдатским шагом возвращалась к бухгалтеру.

— Спит сиротка моя... Спит, а сама улыбается...

В ближней церкви пробило одиннадцать.

— Вот так оказия! — воскликнул Мельников. — Смею сказать, я и не приметил, как время прошло. Прощенья просим, досточтимая Катерина Осиповна!

Доброва с большой неохотой поднялась в свою очередь и протянула бухгалтеру руку.

— Приходите завтра пораньше, Василий Петрович. Да и обедать милости просим. Что так, бобылем? Вы запросто, без затей приходите.

Мельников жарко прижал к груди папку с делами.

— Что я хочу доложить, досточтимая! Дозвольте сказать.

— Говорите, Василий Петрович, — задыхаясь от волнения, прошептала Доброва.

Он готов был уже пасть на колени и объясниться в любви, но вдруг ему стало так страшно, что все приготовленные слова сразу вылетели из головы.

— Ну, чего же вы? — продолжала настаивать хозяйка. — Говорите же... Говорите скорей...

— Катерина Осиповна! Дозвольте... Нет, не могу... Прощенья просим... Уж не взыщите. Одно только и скажу вам: как, — царство небесное, — Ивану Ивановичу верой и правдой, так и вам по гроб жизни...

И, отвешивая поклон за поклоном, попятился к двери.

Оставшись одна, Доброва сразу поблекла, опустошилась. Натруженно шаркая, она едва приплелась к себе в спальню и, как была в платье, рухнула на постель.

— Дался ему Иван Иванович, — заворчала она. — Только и слов нашел; увалень, что «Иван Иванович» да «царство небесное». Что же это, — он хочет, чтобы я первая начала?!

Мельников и сам был очень недоволен собой. Он чувствовал, что проворонил такую подходящую минуту, которая вряд ли скоро подвернется опять.

На половине дороги бухгалтер замедлил шаг,

раздумчиво уставился в звездное небо и вдруг пустился со всех ног назад.

Но у самой калитки каменного дома Добровой всю его прыть снова как рукой сняло. Ожесточенно сплюнув и проклиная себя за трусость, он отправился во-свояси.

Дома, чтобы рассеяться, Василий Петрович вытряхнул на стол бумаги из папки и занялся просмотром ведомостей.

Работа и впрямь скоро увлекла его.

— «Одна трехколесная печатная машина», — строго прочитал он вслух. — Маловато, Василий Петров, не хвалю. Две завести надо. «Одна двойная голландра»... Ну, это так. Хватит пока и одной. «Сушильные барабаны, кои действуют при помощи паровой машины в десять лошадиных сил». Э-э, плохо, Василий Петрович! Зеваешь... Крапивкой за это тебя. Раскачивайся. Нечего думать! Теперь для себя, небось, стараешься, не чужому дяденьке служишь...

Мельников десятки раз вслух перечитывал названия машин, опись инвентаря в мастерских, количество выпущенного товара, суммы прихода, расхода и прибылей. И все эти сухие слова и числа вливались в его душу очаровательнейшей музыкой, рождали глубокую веру в прекрасное будущее.

Шалишь, Катерина Осиповна! Не на такого напала. Не такой человек Василий Петрович Мельников, чтобы свое счастье из своих же рук выпустить. Верно говорю, как перед образом: быть добровской фабрике фабрикой купца Мельникова!

Так, за мечтаниями, бухгалтер, ткнувшись носом в какую-то ведомость, незаметно крепко заснул.

Разбудил его фабричный гудок. Плеснув на себя

водой из жестяного рукомойника, под которым стояло полное до краев ведро с помоями, бухгалтер на ходу помолился, закусил холодным пирогом с горохом, высморкался на пол и, заботливо обтерев пальцы о полы пиджака, степенно зашагал на фабрику.

Глава III

Мельников только много говорил о том, что фабрику необходимо «как можно скорей оборудовать на новый лад», а сам, едва нужно было переходить от слов к делу, терялся и шел наопятную.

Ему, как и покойному Доброву, было страшно расстаться с той выучкой, которую он унаследовал еще от дедов. Машины в одно и то же время крайне привлекали и пугали его. На старой фабрике, где еще преобладал ручной труд, все было знакомо до последней мелочи. Пусть бы попробовал кто-нибудь обмануть или уличить в незнании дела его, человека, который чувствует себя в цехах, как рыба в воде. Да он сам кого угодно мог там за пояс заткнуть. А что понимал бухгалтер в машинах? Чего он мог требовать от людей, приставленных к этим машинам?

И Василий Петрович медлил с переоборудованием цехов.

Доброва начинала дуться.

— Что же вы? — обратилась она как-то к нему. — То все машины, машины... Без машин, дескать, нынче как без рук будто бы, а сами ни тпру, ни ну. Вы уж того, Василий Петрович, действуйте.

— Смею сказать, досточтимая...

— Эж, тоже смельчак нашелся какой! Ничего-то вы не смееете, — прервала Екатерина Осиповна

и вдруг, меняя гнев на милость, кокетливо погрозила пальцем.

Бухгалтер поклялся, что «завтра всем делом займется по-настоящему», и... перевел разговор на другое.

Доброва вскоре поняла, что Мельников может пригодиться ей лишь для «домашнего обихода», а для управления фабрикой надо подыскать другого, более подходящего человека.

Она так и поступила. В один из вечеров Василий Петрович стал ее возлюбленным.

С тех пор Екатерина Осиповна перестала говорить о делах, а только и знала, что миловалась с бухгалтером.

То, что Доброва ни о чем не расспрашивала его, он принял как должное и потому день за днем начинал все более и более чувствовать себя полным хозяином.

Но едва прошел срок годового траура, как сразу рушилось безмятежное состояние духа Василия Петровича. Доброва, никого не предупредив, в сопровождении старинного друга мужа Ярамовского внезапно явилась на фабрику и «учинила полную ревизию дел».

Она, правда, никаких больших грехов не обнаружила, даже похвалила за порядок, однако это нисколько не утешило Мельникова. Уже одно то, что хозяйка, не сказав ему, вздумала проверять его, задело за живое, было принято как личное оскорбление.

Он до того разобиделся, что ушел вечером из конторы прямо домой, не заглянув даже на минутку к Добровой.

Так поступил он и на другой день, и на третий, в течение целой недели.

Наконец бухгалтер дождался своего: Екатерина Осиповна сдалась и первая подала о себе весточку — в контору на его имя, принесли письмо.

«Ага, — злорадно подумал Мельников, — запрочила пардону! Ну-ка, посмотрим, что она тут на каракулила».

И аккуратненько надрезав один край конверта, вынул из него голубой листочек.

«Дарагой Василь Петров, — забегал он взглядом по письмецу. — Прашу пажаловат нонче в восемь часов вечера к нам. У меня будут гости и еще Ярамовский и еще с племянником. С паклонам Катерина Даброва».

Записка, как записка. Ничего как будто особенного в ней не было. Но, прочитав ее, Мельников сразу встревожился. Совсем не этого ожидал он. На кой чорт сдались ему ее гости? Зачем она пригласила Ярамовского, да еще с его племянником, Рылиным, только что приехавшим из Петербурга? Уж не пакость ли какая готовится?

Он так упал духом, что бросил работу и ушел с фабрики раньше положенного срока...

Задолго до условленного часа Василий Петрович сам, не доверяя хозяйке, принялся чистить сапоги. Он так усердно тер их щетками, что занемели руки и на лбу выступил пот. Потом бухгалтер выгладил серые, сделанные из тяжелого солдатского сукна, брюки и мешкообразный пиджак, проверил, нет ли пыли на плисовом жилете и начал одеваться.

В последний раз поглядевшись в зеркальце, он плюнул на пальцы, прилизал стриженные под скобку волосы, полюбовался висевшей на груди и спущенной до нижнего карманчика жилетки серебря-

ной цепью и повертел в руке огромные металлические часы.

— Эка, время как тянется, — поморщился он, но все же вышел, зычно скрипя сапогами, из дому.

Ему очень хотелось курить. Рука сама собой то и дело тянулась в потайной карман брюк, где хранился табак. Но он каждый раз со страхом отдергивал руку и через силу терпел, — Доброва не переносила запаха табачного дыма, зелья, как выражалась она, выросшего на могиле блудницы.

До восьми оставалось еще больше часа. Чтобы как-нибудь убить время, бухгалтер свернул на Базарную площадь. Лавки уже закрывались. Грязь и кучи дымящегося навоза до того густо пахли, что становилось трудно дышать.

Василий Петрович свернул к заросшей густым сосновым бором Покровской горе.

Сумерки заметно густели. Над рекой клубился туман. На восточном краю неба лениво ворочались тяжелые облака. К ним навстречу плыли стада странных птиц, — клочья свинцовых, причудливых туч. Темный бор уныло допевал свою осеннюю песню.

У самого подножья горы, развалившись как попало, лежали какие-то люди. Бухгалтер догадался, что это устроились на ночлег пришлые крестьяне.

Внезапно затрещал валежник, повалил густой дым, в сумраке мелькнул и тотчас же исчез рой золотых бабочек-искр.

«Точно волчьи зрачки, — подумалось Мельникову. — Да и народишко, поди, не лучше волков. Ишь, сколько понабралось их тут».

Кто-то поднялся с земли и приложил к глазам руку. Василию Петровичу почудилось, будто человек вглядывается в него.

Бухгалтеру стало не по себе. «Мало ли что может случиться? Еще разденут, чего доброго, а то и вовсе... От этой голодающей стаи всего дождешься», — рассудил он и благоразумно юркнул за сосну.

— Нешто хозяйева мы себе? — донесся чей-то отчетливый голос. — Кабы земля кормила, куды бы ни шло. А то ведь маята с ней одна, а хлеба — чуть...

— Чудак человек, — рассмеялся кто-то. — Неужто ты чаешь тут, в Иванове, хлебушка раздобыть? Эх, елова шишка твоя голова! Ворочай оглобли назад, загодя упреждаю.

— А сам ты, Трифон, зачем тут? Не за хлебом ли?

Смех сразу увял.

— И то правда. За хлебом. А куды ж денешься? Некуды. Я, вон, с восьми годов к зиме сюда из деревни дальней хожу. И столько я, братец ты мой, перетаскал за тридцать годов из нижних светелок в верхние мокрого крашеного товару, — не счесть! По семнадцать часов, братец ты мой, спину гнул, вон оно что... Теперь в отбельщиках хожу... А нажил что? Слышишь в грудях как скрипит? То-то ж... Вот она и вся прибыль моя... А теперь и податься некуда стало. Совсем из деревни ушел... Обезземелил... За недоимки все отписали... Гол, как сокол.

К костру подошел полураздетый мальчик, на вид лет семи, помешал сучком сырой валежник и плюнул в огонь.

— Не моги! — прикрикнул человек, которого называли Трифоном. — Сколько учил я тебя, что не любит огонь, когда плюют на него. Погоди ужотко, он тебе за это весь язык прыщами утыкает.

Мальчик любопытно вытянул шею.

— А нешто огонь — он живой?

При свете костра Василий Петрович ясно видел худенькую фигурку мальчика и старчески-сморщенное лицо его.

Мельникову почему-то стало вдруг грустно. Он порылся в карманах, нащупал медную монету, бросил ее под ноги мальчику и, опомнившись, стремглав убежал...

У Добровой все уже были в сборе.

— А вы все на фабрике? Все орудуете? — не то сердечно, не то с оттенком насмешки в голосе спросила Екатерина Осиповна, протягивая бухгалтеру руку.

Мельников промычал что-то под нос, молча поклонился гостям и уселся подле Татьяны.

На столе появились икра, стерлядь, кулебяка с вязигой, копченый гусь, окорок, разные соления, варенья, бутылки.

С каждой рюмкой Василию Петровичу становилось все тяжелей на душе. Когда его о чем-либо спрашивали, он вздрагивал, отвечал невпопад, тотчас же забывая вопрос. Все мысли вертелись вокруг одного: почему Доброва так любезна со всеми, а его как бы и не замечает?

Лишь одна Татьяна, всегда чуждавшаяся бухгалтера, еще кое-как проявляла заботу о нем — время от времени потчевала и предлагала вина. Но это только еще больше тревожило.

«Бывало, и не глядит в мою сторону, — как бы нарочито дразнил себя Мельников, — а тут вдруг попечение возымела. Нет, не спроста это...»

— Чего это ты, Василь Петров, с лица кислый такой? — обратился вдруг к бухгалтеру Ярамовский. — Паука, что ли, проглотил? Вышьем-ка луч-

ше с тобой под огурчик. Смородинная, она во как огурчик соленый любит!

Мельников машинально чокнулся, поддел вилкой огурец, но до рта не донес, уронил его на пол.

Когда все было съедено и выпито, первым поднялся Ярамовский.

— Спасибо этому дому, пойдем к другому. Так, что-ли, Петрович?

— Наш дом, где горбом да честью хлеб добываем, — мрачно буркнул Василий Петрович и в свою очередь встал.

Увы! Последняя надежда угасла. Екатерина Осиповна сделала вид, что не заметила направленного на нее полного немой тоски и укора взгляда.

И только когда уничтоженный Мельников направился к двери, она, точно вспомнив о чем-то, остановила его и кивнула в сторону галантно шаркнувшего лакированным ботинком двоюродного племянника Ярамовского, Николая Николаевича Рылина.

— Я и позабыла, Василь Петрович... Облегченье вам... Николай Николаевич в управляющие согласился к нам поступить.

У Мельникова чуть ноги не подкосились от такой неожиданности. Но он превозмог себя и покорно склонил голову.

— Нам, смею сказать, без управляющего... конечно... никак... конечно... дело важное... Рады стараться... Доброго сна, Катерина Осиповна. Спасибо за угощеньице...

— Не взыщите, гости дорогие, — поклонилась хозяйка и без всякого стеснения громко и протяжно зевнула.

Бухгалтер не помнил, как добрался домой. Он

негодовал. «Как?! Я, можно сказать, верой и правдой, а она, как только управляющий занатобился, другого взяла? Ну, погоди же! Я покажу тебе, как шутки шутить с Василием Петровичем! Я тебя, распутница, на всю округу ославлю!»

Но утром, придя в контору, он держал себя так, что новый управляющий пришел в восхищение от его скромности и почтительности.

Мельников и в самом деле не притворялся. «Несправедливость» хозяйки пришибла его, породила в душе что-то похожее на слезливую жалость и к самому себе, и ко всем «обиженным». Одним словом, он подчинился «судьбе», притих.

Очень расстроился бухгалтер, лишь узнав, какое щедрое жалованье положила Доброва Рылину и двум недавно принятым мастерам.

«Слыханное ли дело? — ткнул он в воздух пером. — Шестьсот рублей в месяц эдакому хлысту, управляющему, сто тридцать пять рублей колеристу и механику сто. А мне, Мельникову, правой руке всего дела, — пятьдесят пять рублей! Где же после этого правда? Справедливость где у Катерины моей? Что вы скажете, добрые люди?»

— Вы чего призадумались? — спросил неожиданно нагрянувший управляющий. — Впрочем, и у меня, представьте, еще шумит в голове от вчерашнего... Что-то, знаете ли, не то тру-ля-ля какое-то, не то еще чорт знает что.

— Что вы, Николай Николаевич! У меня все так точно. У меня на работе голова всегда чистая... Будьте спокойны-с.

Рылин разгладил безукоризненный свой пробор и скользящей походкой, точно шагал не по обыкновенному крашеному полу, а по натертому до лоска паркету, направился к двери.

Глава IV

Доброва очень любила беседовать с Николаем Николаевичем, который всем взял — и умом, и лицом, и обходительностью.

«Вон они какие, петербургские! — восторгалась Екатерина Осиповна. — И прожил-то там всего годов пять, а вернулся каковский? Орел орлом!»

Рылин и впрямь взял по отношению к хозяйке необычайный для ивановцев тон. При встречах с ней он изящно расшаркивался, целовал руку, никогда не садился, как бы ни уговаривали, если первыми не усаживались дамы, вскакивал со стула, когда поднималась Доброва или какая-нибудь ее гостья, любил вставлять в разговор переделанные на свой лад иностранные словечки, пошленькие комплименты, при случае ввертывал что-нибудь из мифологии.

Одним словом, Рылин обладал всеми качествами, способными вскружить голову любой ивановской даме.

Мельников только диву давался, наблюдая за управляющим. «Шут его разберет, как все у него по-благородному обозначается! Совсем обворожил кувалду мою... Как бы... тьфу! тьфу! тьфу! сухо дерево, завтра пятница, — в добрый час сказать, в дурной промолчать, — не отбил, стрекулист, толстуху мою. От таких станется! Знаем. Только и норовят блудить, черти столичные!»

Присмотревшись хорошенько к «повадкам» Рылина, бухгалтер решился и сам «показать благородное обхождение». Но при первой же попытке он потерпел жестокое поражение.

— Что это вы, Василий Петрович, головой вихляете и так ногой дрыгаете, будто кого лягнуть

собрались? — встревожилась Екатерина Осиповна, едва Мельников «произвел первый опыт».

— Простыл, должно быть... Так всего и корчит, — бухнул Мельников и поспешил исчезнуть.

Николай Николаевич работал именно так, как хотелось Добровой. С каждым днем она все непреложнее убеждалась, что покойник, завещавший как можно скорее перейти целиком на машинное производство, был тысячу раз прав. Ручной труд властно вытеснялся машинами, и те фабриканты, которые продолжали цепляться за старину, разорялись один за другим.

Факты говорили сами за себя красноречивее всяких слов: машинный ситец выработывался гораздо скорее, был красивей и много дешевле ручного.

— Нет уж, — твердила Екатерина Осиповна, — я женщина хоть и слабая, а завет блаженной памяти Ивана Ивановича выполняю. Как предрекал он, что грядет царство машин, так и сбывается.

— Золотые слова! — вдохновенно подхватывал Рылин. — Тончайшая мысль! Сама Неифа, а не мысль, мадам! Без машин мы не выдержим конкуренции. Ни абсудейман, прекраснейшая богиня истины. Сандут... Уверяю вас...

И доставал из бокового кармана конвертик, в котором хранились образчики ситца.

— Прошу, мадам. Взгляните. А? День и ночь? Ну, еще бы! Все рынки завалены машинным ситцем. Все!

У Рылина слова не расходились с делом. Все, что он говорил, непременно претворялось им в жизнь.

И результаты его стараний скоро сказались. Не

прошло и года, как на фабрике красовались уже две новые паровые машины, две голландры, три печатные машины, одна пирротина и два пантографа.

Не церемонился управляющий и с материалами для протрав.

— Да одолеют ли рабочие новшества ваши? — обеспокоенная чрезмерным усердием Рылина, спросила как-то Доброва. — Не больно ли широко размахнулись? Сколько годов, поди, работают ивановцы с хромшиком, оловянной солью, шмаком и кверцитрином, и вдруг какую-то грушу французскую выискали. Как бы не вышло греха.

Управляющий приложил руку к груди.

— Поверьте, мадам, все продумано. Все будет шикарно. Комильфо! Экселян! наших рабочих можно научить всему. Русскому человеку дайте только Кутузова, и, уверяю вас, вы не успеете моргнуть, как ручной труд, точь-в-точь как когда-то французы, вылетит вон из наших фабрик. Клянусь Юпитером. Позвольте ручку, мадам. Какая восхитительная ручка! Какие благородные линии! Афродита!

— Да будет вам... комплименщик! — рдея до корней волос, пробасила Доброва. — Небось, в Петербурге не такие ручки лобзали?

— Екатерина Осиповна! Умоляю! Не говорите так мне! Ваши слова жестоки.

— Ну, ну, молчу.

— Так вот, Екатерина Осиповна, по поводу французской грушки. Я хочу сказать, что мы начинаем применять и кошениль, и французскую грушку, и все, что нам нужно.

— Так-то оно так. Только кто за порчу отвечать будет?

Николай Николаевич хитренько улыбнулся, обнажив два ряда нетронутых белоснежных зубов.

— Отвечать кто будет? Несомненно, тот, кто испортит товар. Разве мы штраф отменяем? Кто будет учиться, тот будет отвечать и за брак. Вукомпран?

— Ну, пошли вам бог. Действуйте, как сами знаете.

И Рылин продолжал действовать. Все именитое Иваново постепенно проникалось к нему уваженьем. Особенно любо было промышленникам то, что Николай Николаевич, несмотря на отсутствие свободного времени, с большим вниманием присматривался к общественным делам и, как только мог, помогал в работе членам управы.

Николаю Николаевичу всюду хотелось быть первым. Только происходило это отнюдь не потому, что в нем сидел бес честолюбия. Такое чувство было мало знакомо ему, — сама натура жаждала деятельности, широкого размаха, смелых дерзаний.

Его все волновало. Соединение Иванова и Вознесенска в одно городское поселение пойдет на потребу промышленникам, даст им возможность самостоятельно управляться, — значит, нечего сидеть сложа руки и ждать, пока манна небесная сама свалится на голову, а нужно брать быка за рога.

И как же сиял Рылин, когда, «высочайшим соизволением» 21 июля 1871 года, в России родился новый город — Иваново-Вознесенск!

А мало ли затратил управляющий сил, помогая открытию в городе отделения Русского технического общества?

Вот только жалко, что железная дорога от станции Новки Нижегородской линии на Шую до Ива-

ново-Вознесенска и от Иванова до Каширы была проведена еще в то время, когда Рылин жил в Петербурге. То ли бы строили ее при Рылине!

— Да-с! — сокрушался он каждый раз, когда речь заходила о железной дороге. — Обидно, что меня тогда не было. Я бы такой проект составил, — ананас! Почка в мадере! Вывоз и ввоз товаров поднялся бы втрое!

Все купцы души не чаяли в Рылине. Только рабочие, хоть он и стремился, как только мог, казаться «гуманным», не очень им восторгались.

Каждый новый день приносил рабочим какую-нибудь неприятную неожиданность. То их заставляли бросать привычное дело и приниматься за незнакомое, то по тайному доносу мастеров донимали выговорами, штрафовали, а нередко потчевали и зуботычинами.

— Сами же после будете кланяться в ноги, — с голоса Рылина бубнили старшие. — Учитесь, ежели хотите в люди настоящие выйти...

Еще предутренний туман окутывал тонувшие в грязи улицы, а со всех концов города люди торопились уже на работу. Старики, женщины, дети, все представители столбовой ивановской бедноты были тут налицо, — голод властно гнал в ненасытную утробу фабрик.

Мельников как-то зашел по делу в помещение сушильных барабанов. У самого порога его обварило валившим от сырого миткаля едким сорокаградусным паром. Сразу нечем стало дышать. Все его тело как бы пронизали тысячи пчелиных жал.

— Эка, прости, господи, у вас духотина! — промычал он. — Сущее пекло.

Немного освоившись, Василий Петрович увидел

целую ораву голых детей, расправлявших дрожащими пальцами миткаль.

«Где я встречал его? — подумал Мельников, взглядываясь в одного из малышей, и сейчас же вспомнил. — Ба! На Покровской горе, у костра».

— Верно? — вслух уже произнес бухгалтер. — Тебя ведь видел я у костра?

— Верно, Василь Петров, — ответил кто-то за мальчика. — И мы тебя видели, хоть ты и укрылся за дерево.

Мельников оглянулся и узнал рослого бородача Трифона.

— А ты ему отец будешь?

— Родитель, это верно, Василь Петров. Один остался он у меня, Гришкою звать. Я да он, а то все поумирали.

Воспользовавшись разговором, дети на минуту прекратили работу.

— Эй, вы там! — крикнул мастер. — Это что за вольности тут?!

От нестерпимой жары и ядовитых испарений у Василия Петровича заломило в висках. Он наскоро справился со своим делом и поспешил выйти на воздух.

— Пей! — донеслось до него, едва очутился он за порогом. — Пей же!

Мельников заглянул в помещение. На мокром полу лежал Гришка. Лицо его посинело. Глубоко ввалившиеся глаза уставились куда-то, не мигая, в пространство. Вся шея покрылась желваками.

Мастер, сам еле живой от жары, пошатываясь, лил на лицо мальчика воду и беспрестанно хрипел:

— Пей! Пей, идол! Пей!

У Василия Петровича сжалось сердце. «Эх, горя

сколько на свете! — подумалось ему с болью. —
Одному все, другому — шиш с маслом. Хоть, к при-
меру, нас взять с Николаем Николаевым. Ему мало
что шестьсот рублей в месяц дают, так еще награ-
дами всякими пичкают, а меня, бухгалтера, пра-
вую руку, как держали на полсотне рублей с пя-
титкою, так и держат. Хоть бы плюнула на руку
мне толстуха моя!..»

— Пускай его поотдышится малость, — провор-
чал Мельников, перенося подручного ближе к поро-
гу, и окликнул Трифона: — Послушай, как тебя?

— Трифон я!

— Ты его завтра в контору пришли. Или, ладно
уж. Я сам приду за ним. В мальчиках будет ходить
у меня. А то тут ему крышка. Больно уж хил он
у тебя.

— Это точно, Василь Петров. Совсем никудыш-
ный. Покорно благодарим.

Рабочие внимательно прислушивались к разгово-
ру и робко подходили поближе к бухгалтеру.

— Василь Петров! — несмело попросил один из
них. — Заставь вечно бога молить. Терпенья нет по
пятнадцать часов париться тут. Заколоти словечко.
Облегчи нашу участь.

Бухгалтер потупился.

— Чего ж вы хотите?

— Да нам бы еще куды ни шло... А вот хучь
ребяткам часы послабили. Как мухи мрут. Что ни
месяц, то покойничек. А нам бы пока можно бы и
на том помириться, чтоб штраф послабили. Умуча-
ли штрафы нас. Пуще жару этого нас допекают.

— А еще общежительство наше, — вставил дру-
гой. — В могиле и то, чай, просторней. Ты вникни...

Мельников уже раскаивался в том, что проявил
минутную слабость и пожалел мальчика.

— Ладно, — процедил он сквозь зубы. — Разберем. Ступайте работать.

И, широко размахивая руками, ушел.

Вечером, как бы случайно, в спальни рабочих явилась Екатерина Осиповна. Ее сопровождали Рылин и Мельников.

Казармы представляли собой отдельные каморки, расположенные по обеим сторонам коридора. Они оказались до того тесными, что Доброва при всем старании не могла протиснуться в них.

Каморки были пропитаны мутящим духом затхлости. На полу, на мочальном матраце, под грудой давно не стиранного тряпья, лежали две женщины, ребенок, старик и молодой рабочий. Зацветшие от сырости стены были сплошь испещрены следами от раздавленных клопов.

Густо припудренная пылью паутина до того часто оплела образ, что Екатерина Осиповна так и не могла разглядеть, чей изображен на нем лик.

— Господи, спаси и помилуй! — всплеснула руками Доброва. — Да как же можно позволить в эдаком горе жить?! Грех-то какой!

Она долго и с большим участием беседовала с людьми, внимательно выслушивала их жалобы, охала и то и дело неодобрительно поглядывала на Николая Николаевича.

— Ай, ай, ай, как нехорошо! Обязательно надо новые спальни построить...

Мельников стоял за спиной Рылина с таким видом, как будто весь был охвачен горькими думами, а сам исподволь наблюдал за рабочими, определяя по манере держаться, по тону, кто из них «благонамерен» и кто «бунтовщик», кого нужно немедленно убрать с фабрики и с кем можно еще подождать.

Екатерина Осиповна сдержала обещание — поутру плотники приступили к постройке новых барачков.

— А, смею спросить, как быть с помещением для сушилок? — обратился к хозяйке бухгалтер. — Неужели тоже перестраивать будем?

— Да вы в своем ли уме, Василь Петрович? Зачем же все сразу? Я женщина слабая. Я уж так делаю, как блаженной памяти Иван Иванович обучал: «Ты им косточку, а палец и не кажи, — по локоть руку откусят».

— Хи-хи-хи-хи! — подобострастно рассмеялся Мельников. — Вам бы, досточтимая, в министрах ходить. Хи-хи-хи-хи!

И, убедившись, что никого поблизости нет, обнял хозяйку.

Г л а в а V

Рылин часто заходил в общежитие рабочих, на кухню, сам пробовал пищу, разбирал жалобы и во всю мочь пыжился заслужить славу справедливого человека.

Иногда, приказав вдвое увеличить наложенный за какой-нибудь проступок штраф, он сам же, во всеуслышание, зло выговаривал мастерам:

— Нет, батенька, так на добровской фабрике не бывает. Да-с! Зарубите на носу: справедливость, справедливость и еще раз справедливость. Прошу запомнить, милостивые государи!

И тут же снижал штраф наполовину.

Многим фабрикантам начинало не нравиться поведение Рылина. В самом деле: едва поднимался где-нибудь ропот на чрезмерные штрафы, червивые щи, мордобой и произвол, как рабочие тотчас же ставили Николая Николаевича в пример своим хозяевам: «Там, мол, и это не так, как у нас, и то

куда лучше, и народ всем доволен». Что «не так» на фабрике Добровой, чем там доволен народ, никто толком не знал. Но «там» люди были как будто потише, реже жаловались на порядки, и одного этого было уже достаточно для различных сопоставлений и выводов.

Больше других сердился на Рылина и Доброву Ярамовский.

— Я человек простой, Катерина Осиповна, — выговаривал он. — Я без обиняков. Не могу, как племянничек мой, всякие там фигили-мигили петербургские. А только не ладно делаете, не так, как положено.

— Да чем же мы, Мирон Фирсович, прогневили вас?

— Чем прогневили? А известно вам, чем мы сильны? Единомыслием, Катерина Осиповна, вот чем. Нам всем воедино действовать надо, чтобы рабочие чувствовали и страх должный имели. А вы — поблажки там всякие, спальни эти самые, разговорчики душеспасительные. Прямо скажу, не одобряю. Жив бы Иван Иванович был, и тот не одобрил бы.

Екатерина Осиповна слушала со всем уважением, но под конец с глубоким вздохом твердила свое излюбленное:

— Куда уж мне... Я женщина слабая... Я, как Николай Николаевич присоветует.

Рылин отчаянно защищал и себя и хозяйку. Он, правда, в кое-каких вопросах соглашался с доводами Мирона Фирсовича, но в главном был непоколебим.

— Шарман! Гениальные мысли! Их на мраморе надо высечь. Но... но, дядюшка, не лучше ли, как

прекрасно сказано где-то, не дразнить льва во пещере его?

День за днем Рылин все больше очаровывал Екатерину Осиповну. В конце концов как-то само собой получилось, что все свободное время он стал проводить исключительно в доме Добровых.

Но как ни «галантен» был Николай Николаевич, как ни превосходил он Мельникова красотой, «благородством», умением сыпать комплиментами и хорошо одеваться, Доброва все-таки ни разу не дала ему повода переступить известные рамки. Несмотря на искреннее восхищение «петербургским орлом», она почему-то словно побаивалась его, чувствовала себя при нем не совсем в своей тарелке. Другое дело человек ее круга, Мельников, как бы нарочито для нее созданный!

Рылин все это понимал, но не очень расстраивался. Он был убежден, что если хорошенько поднажмет, то Екатерина Осиповна, пожалуй, и не устоит перед его «обаянием», станет близка ему. Только не это нужно было управляющему. Что проку в том, будет ли или не будет хозяйка его возлюбленной? Ну, будет, допустим. А дальше как? Неужто же она выйдет замуж за Рылина? На такой шаг, на посмешище всему Иванову, Доброва, конечно, никогда не отважится. При Мельникове, о связи которого с хозяйкой хоть и говорили шепотком во всех уголках, ей все-таки было куда как спокойнее...

Нет, у Рылина были совсем другие виды на будущее. Все внимание свое он обращал не на Екатерину Осиповну, а на ее дочь, Татьяну.

И вот наступило время, когда в доме начали подмечать, что молчаливая скромница Татьяна Ивановна, от которой раньше всегда пахло лекар-

ством, стала прихорашиваться, душиться, ожила и пользуется каждым случаем, чтобы встретиться с Николаем Николаевичем.

При виде девушки Рылин страшно смущался, терял весь свой апломб и только и делал, что по минутно влюбленно вздыхал.

Екатерина Осиповна лукаво поглядывала на обоих, перемигивалась с завсегдатаем ее дома Мельниковым, но управляющему не мешала «гнуть свою линию».

Часто, будто вспомнив о каком-нибудь неотложном деле, Доброва уходила с Василием Петровичем к себе, оставляя дочь и управляющего одних.

Едва за хозяйкой закрывалась дверь, у порога, точно из-под земли, вырастала добровская приживалка, на обязанности которой было наблюдать в замочную скважину за поведением Рылина и Татьяны и в случае нужды предупреждать «опасность».

Рылин придвигался к девушке и робко заглядывал ей в глаза.

Она смущалась, перебирала худенькими пальцами бахрому накинутого на узкие плечи оренбургского платка (ей всегда было холодно) и то и дело украдкой облизывала сероватым языком анемичные губы.

— Кажется, гром, — прислушиваясь к отдаленному шуму, неизменно произносил вдруг управляющий.

— Нет, это поезд, должно быть.

— Да, наверное, поезд.

Татьяна подходила к окошку и в свою очередь прислушивалась.

— Нет, гром, должно быть, Николай Николаевич.

— А и верно: кажется, гром.

Она снова усаживалась. Их взгляды встречались,

и тогда длинное лицо девушки мгновенно загоралось изжелта-красным румянцем, а острые уши с приросшими к телу мочками становились совсем восковыми, прозрачными.

— В Петербурге у нас теперь уже съезжаются в оперу.

— Расскажите про Петербург, Николай Николаевич.

— Ах, Петербург, Петербург! Северная Пальмира! — мечтательно произносил Рылин. — Душечка Петербург!

— Расскажите что-нибудь о Петербурге, Николай Николаевич.

— Если вам интересно, я готов рассказывать вам всю ночь напролет.

Он нежно прикасался к руке девушки и заглядывал ей в лицо.

— Я безумно люблю музыку... обожаю.

— А почему вы никогда не приносите свою скрипку? Говорят, вы чудно играете...

— Ну, что вы! Уж и чудно... Так, для души...

— А я люблю, Николай Николаевич, такое, знаете ли, чувствительное.

— Как разительно мы сходимся с вами, Татьяна Ивановна! Завтра я обязательно сыграю вам что-нибудь эдакое... французское...

Когда Татьяна хворала, у Рылина на лице было такое выражение, как будто у него вырвали здоровый зуб.

— Да уж зайдите поведать, — ухмылялась Доброва. — И то уж она раз сто про вас спрашивала сегодня.

Рылин припадал в долгом поцелуе к руке хозяйки, расшаркивался и исчезал...

С каждым днем Николай Николаевич все более

смелел, становился общительней, откровенней. Его бархатистый, чуть вздрагивающий голос, очаровательная улыбка на унитанном, холеном лице, теплый, полный глубокого сочувствия к больной взгляд больших, чуть маслящихся глаз действовали на девушку благотворнее всех лекарств в мире. Она упивалась его взглядом и голосом, забывала о мучившей ее желчи и сама начинала весело щебетать, беспричинно смеяться.

— Чисто, кудесник какой, — поощрительно говорила Екатерина Осиповна, не надолго заглядывая в комнату дочери. — Право слово, весь дом веселится, когда вы у нас. Даже и мне, старой, вольготней становится.

— Екатерина Осиповна! — словно ужаленный, вскрикивал Рылин. — Да как не совестно?! Да какая вы старая?!

— Ну, поехал! Молодую нашел!

Управляющий окончательно выходил из себя.

— Ради бога, молчите! Да на такую, как вы, молиться надо! Вы очаровательная женщина, Екатерина Осиповна! Психея! Изида!

И, расправляя мизинцем нафиксатуаренные усы, чмокал руку Добровой.

— Умоляю, молчите, за вас уже все сказали французы. Да, да, французы знают, что говорят, когда дело касается женщины. Это они открыли, что женщине столько лет, на сколько она выглядит. Величайшая из истин, Екатерина Осиповна.

Побежденная старуха уплывала из комнаты дочери, а Рылин принимался рассказывать девушке про «наш» Петербург или читал ей вслух какой-нибудь переводный роман, вроде «Сына жены моей» Поль де Кока, «Герцогини Шатору» в вольном из-

ложении Софии Ге и другие такие же «душещипательные» сочинения.

— А ведь Таня моя не на шутку... того, — шептала Доброва бухгалтеру. — По уши... это самое... Околдовал ее наш-то...

Василий Петрович завистливо вздыхал про себя. «Правду умные люди говорят, — думалось ему, — дуракам счастье. Эка, везет стрикулисту». Но перечить хозяйке, благосклонно относившейся к «шашням» Рылина и Татьяны, не смел и потому смиренно взирал на кюот.

— Во всем бог, досточтимая. Суженого, Катерина Осиповна, и на коне не объедешь.

Однажды вечером Татьяна вошла неожиданно к матери и пала ей в ноги.

— Матушка! Не жить мне без него... Выдай меня за Николая Николаевича.

Не успела Доброва опомниться, как в комнату, в визитке, в черных с белой полоской брюках из чистейшего «бостона», в крахмальной белоснежной сорочке, влетел Рылин и с театральной трагичностью грохнулся на колени.

— Спасите! Я всю жизнь буду молиться за вас! Не отвергайте! Кто же, как не вы, с вашим женским сердцем, поймет, что такое муки любви? Вы сами еще так молоды, так хороши!

Доброва сразу обмякла и украдкой кинула взор на зеркало.

— Что уж поделаешь с вами! Снимай, что ли, образ!

В тот же вечер всему ивановскому купечеству стало известно, что Рылин «обстрипал-таки дельце» и женится на дочке Добровой.

— Как, маменька, ни прикидывайте, — вскоре после венца пожаловался Николай Николаевич теще, — а пахнет разбоем, трагедией. Шекспиром, маменька, пахнет!

— А ты бы по-русски... Что ты меня разбойником-немцем пугаешь? Хватит у нас и своих шекспиров-то этих... Проходу не стало.

— Не Шекспиров, маменька, а разбойников... От разбойников проходу не стало.

И Рылин принялся горячо доказывать, как резко, у всех на глазах, меняется жизнь и как новые времена настойчиво требуют коренной перестройки русской промышленности.

— Новые птицы, маменька, — новые песни. Новые песни — новые птицы. Все новое, маменька. Даже рабочие, и тех трудно узнать теперь. Вдумайтесь! Рабочие приобрели дар речи! Они научились разговаривать, требовать, действовать скопом! Ведь это же трагедией пахнет! Какой там Шекспир! Десять Шекспиров.

— Да не тяни канитель! Вижу, сама ведь все вижу. Ты лучше присоветуй, как быть?

— Все совершенно ясно и просто: они объединяются, — объединимся и мы. Это необходимо. Здесь будут две пользы. Цены падают, маменька? Катастрофически падают. Конкуренция растет? Катастрофически растет. Тридцать пять ивановских фабрик друг с дружкой борются?

— Тьфу ты пропасть! И откуда у человека слов столько берется? Чисто, фантал! Будешь ты толком?

— Слушаюсь, маменька. С самой гущи начну. Фабрикантам нужно объединяться в товарищества.

Мелкие фабрички разорить, а крупные слить. Тогда цены диктовать будем мы. И пускай тогда попробуют поговорить с нами рабочие!

Екатерина Осиповна призадумалась. Слова зятя взволновали ее, казались значительными. Но она в тот день ничего не сказала ему, только крепко пожала его руку и поцеловала в лоб.

Рылин принял это как молчаливое согласие и с упоением отдался разработке всевозможных проектов и планов, не ослабляя в то же время личного контроля над фабрикой.

Чем чаще управляющий сталкивался с бухгалтерскими ведомостями, тем больше разгоралась в нем алчность. Все казалось ему недостаточным: и количество машин, и выработка ситца, и качество товара, и торговые обороты.

— Подумаешь, прибыль, — недовольно фыркая он, рассматривая ведомости за год. — Каких-нибудь восемьдесят пять тысяч рублей. Курам насмех!

Однажды, очень расстроенный, он пришел с ведомостями к Добровой.

— Вот, пожалуйста, маменька. Я говорил. Я знал. Я угадывал. Восемьдесят пять тысяч ничтожных рублей! Что же мы — нищие? Я умоляю вас покончить с этим крохоборством. Вы должны отдать мне приказ немедленно приступить к организации товарищества добровской мануфактуры.

После долгих убеждений Екатерина Осиповна хоть и сдалась однако пока что только наполовину.

— Так сразу нельзя, — сказала она. — Обдумать все надо. А покудова фабрику расширай. На это согласна.

И Рылин, чтобы не терять время, немедленно

приступил к постройке новых корпусов для паровых машин, артельной и вешалок.

Подбор рабочих в новые корпуса был поручен исключительно Василию Петровичу, владевшему особенными способностями распознавать людей «по первому взгляду».

«Тертых» чужаков, грамотных или, еще того хуже, рабочих, за которыми укрепилась слава «бунтовщиков», он избегал пуще чумы. Зато фабричные ворота широко были открыты для только что пришедших из деревень крестьян и для тех ивановских бедняков, которых считали «благонамеренными».

По городу пронеслись слухи, будто на фабриках устроились рабочими приехавшие из Петербурга студенты.

Полиция сбилась с ног, разыскивая «крамолу». Стоило кому-либо из фабричных сказать неосторожное слово, как за ним тотчас же учиняли слежку и потом неизменно сажали в холодную.

Но как ни усердствовали жандармы и полицейские, а «крамольников» пока что изловить не могли. Каждый день в цехах, на фабричном дворе и даже в конторе находили запрещенные книжки.

Но увы! Охотников почитать эти книжки было чрезмерно мало, — почти никто из ивановских рабочих не разумел грамоте, а те, которые и умели читать, держались так осторожно, что к ним нельзя было подступиться.

Исключение составляли только отбельщики Баратов, Турганов да еще три человека из пришлых, живших на общей квартире.

В праздники к отбельщикам приходили в гости кое-кто из рабочих. Особенно зачастил к ним в

последнее время отбельщик добровской фабрики Трифон, очень полюбивший Баратова за то, что тот «присоветовал ему какое-то полезительное лекарство от живота».

В первое время хозяева и гости занимались лишь тем, что судачили о разных разностях, шутили или жаловались друг другу на фабричную жизнь. Но чем дальше, тем заметнее менялось направление разговора. В беседах нет-нет, а начинали попадаться такие слова, как «царь», «самодержавие», «тираны», «политика», «образование».

Однажды Трифон привел к Баратову своего сына. К концу вечера трудно было узнать болезненного Гришу, — так возбуждающе действовали на него разговоры взрослых. Его глаза пылали, впалые щеки горели ярким румянцем, какое-то новое чувство обжигало и словно бы облагораживало душу.

С тех пор Гриша стал завсегдатаем у отбельщиков.

И вышло так, что даже вечно настороженный Мельников не сумел уберечься от неожиданно разразившегося в новых казармах скандала.

Был поздний вечер. В общей спальне догорала коптилка. Голоса звучали тише, сонливей. Кое-где раздавался уже храп. У входной двери, сидя на лавке, клевал носом сторож. Вдруг он вздрогнул и вытянул шею, — к нему донесся обрывок какого-то, приведшего его в трепет, слова.

«Трифон!» — узнал он по голосу Гришиного отца и сейчас же еще усерднее засопел.

В дальнем углу, ткнувшись ртом почти в самое ухо соседа, что-то увлеченно нащоптывал Трифон. Рядом с отцом, подперев кулаком голову, спал Гриша.

— Верное слово... Сам слышал, как читали ту книжку.

— А про что она?

— Про самого царя нашего. Да еще про то, какая у нас с тобой жизнь. Прямо тебе, будто сам про себя написал я, таково правильно все.

— А про царя что?

— Дескать, он за хозяев стоит, а нас и за людей не считает. Вроде мы с тобой — тьфу!

— Да ну?

— Прописано так... А там кто ж его знает.

Долго еще слышались вздохи, отдельные слова, восклицания. Наконец все в спальне заснуло.

На рассвете Трифона вызвали в контору, а оттуда увели прямо в полицию.

Мельников был потрясен. Он не знал, что делать, как показаться на глаза Добровой и Рылину. Но это было еще не все. Окончательно сразила его весть о том, что в одном из новых корпусов была обнаружена «Сказка о четырех братьях».

Это было уже выше всякой меры. Мельников почувствовал себя уничтоженным, безвозвратно погибшим.

— Ухожу, — объявил он Николаю Николаевичу.

— То есть как же это?

— Недостоин я вашего доверия. И себя обесчестил, и Катерину Осиповну, и вас. Пойду утоплюсь.

Рылин едва успокоил бухгалтера.

Придя немного в себя, Василий Петрович прежде всего примчался в помещение сушильных барабанов.

— А, вот ты где, дьяволово отродье! — крикнул бухгалтер и изо всех сил ударил по лицу Гришу. — Вон! Вон отсюда, гадина!

Гриша схватился рукой за щеку, помотал головой и покорно зашагал к порогу.

Выгнав с фабрики еще десятка полтора людей, Мельников учинил повальный обыск в старых и новых казармах и отправился за советом, как быть, к своему куму, полицейскому приставу.

Оставшись без работы и крова, Гриша первым делом хотел было отправиться к Баратову, но в последнюю минуту раздумал — постеснялся.

Бесцельно пробродив до вечера по городу, Гриша незаметно очутился у Покровской горы. Там он и остался на ночлег...

Узнав об аресте Трифона, Баратов на другой день разыскал его сына.

— Как же тебе не совестно? Почему к нам не пришел? Сейчас же ступай к нам жить.

— Соромно, дядя Сеня.

— А так-то лучше, под открытым небом жить да с голоду помирать?

— А я работу найду.

— Нет, брат, не жди. Ты теперь сын бунтовщика. Закрыта тебе дорога на фабрику. Так с голоду и помрешь.

— А я к кузнецу к знакомому нашему. Лучше я к нему.

Баратов хорошо понимал, что Гришу опасно приютить у себя. Но изможденное лицо подростка, его полный тоски взгляд переворачивали вверх дном всю душу отбельщика.

Ничего не сказав Грише, он отправился домой посоветоваться с товарищами. Те решили, что им хоть и нечего опасаться, однако будет лучше приютить у себя Гришу так, чтобы об этом никто не знал.

На другой день, поздно вечером, Гриша уже пробирался тайком на ночлег к Баратову.

Жандармский ротмистр довольно потирал руки.

— Не иначе, я на верную дорожку попал, — с наслаждением говорил он. — Ну, теперь попались, голубчики. Вместе с этим самым Гришкой готовьтесь в гости к его отцу...

За домом, где жили отбельщики, был учинен строгий надзор. А через две-три недели к ним нагрянула ночью полиция и, забрав при обыске спрятанную под полом запрещенную литературу, арестовала всех пятерых друзей вместе с Гришей.

Три месяца просидели арестованные в полицейском участке. После бесконечных допросов, запугиваний и избиений Гришу как «случайно проживавшего у Баратова» выпустили на волю. Остальных, вместе с отобранными при обыске иностранными революционными газетами и русскими запрещенными книжками, под строгим караулом увезли в Петербург...

Когда на суде Баратову было предоставлено последнее слово, он спокойно огляделся вокруг и высоко поднял голову.

— Да, — начал подсудимый, — я не буду отрицать то, что я был пропагандистом. Но я желаю высказать причины, которые привели меня на эту скамью. Я рабочий. Простой рабочий.

Голос его зазвенел, и глаза, светлые, всегда чуть-чуть грустные, вдруг потемнели, стали глубокими.

— Я с малолетства жил на фабриках и заводах. Я много думал о средствах улучшить быт рабочих и наконец сделался пропагандистом.

Немногочисленная «избранная» публика, допущенная в зал суда по специальным билетам, с огромным увлечением, как на чудо, глядела через монокли, лорнеты, пенсне на Баратова, хоть в нем ничего, решительно ничего не было из ряда вон выходящего: обыкновенный русский, с открытым лицом рабочего, светлокудрый, простой человек.

Но эта-то «обыкновенность» и казалась необычайной.

— Мюжик, — шептала сияющему золотыми позументами и орденами соседу какая-то молодящаяся старуха. — И даже, представьте, совсем не похож на разбойника.

— Да, да, поразительно, — шурился собеседник, незаметно потирая рукой поющую поясницу. — Не понимаю, решительно не понимаю, откуда к ним... к этим... э-э... к этой черни привилась такая манера держаться? Какой важный тон! Я просто перестаю узнавать наш народ...

Председатель лениво потянулся к колокольчику и, водворив в зале порядок, так же лениво поглядел на примолкнувшего Баратова.

— Все?

— Нет, не все! — выпрямил грудь подсудимый. — Я должен сказать, что цель моей пропаганды заключалась в том, чтобы подготовить рабочих к революции.

— Я вас лишаю слова! — неожиданно сбросив с себя дремоту, брызнул слюной председатель.

Конвойные солдаты сделали шаг вперед. В их руках дрогнули обнаженные шашки.

— А я все-таки буду говорить! — крикнул Баратов. — Да! Цель пропаганды заключалась в том,

чтобы рабочие сбросили со своего горба паразитов...

— Уберите его! — взвизгнул судья.

Арестованного поволокли в коридор. Но он не унимался.

— Без революции нам никогда не добиться улучшения своей участи! — точно с куском сердца выбрасывал он слово за словом. — И мы будем бороться. Я исполнил свой долг, долг честного рабочего, искреннего, всей душой преданного интересам своих замученных братьев! И на мое место станут тысячи новых борцов за своб...

Он не договорил. Конвойный офицер зажал ему ладонью рот.

Трифон на все вопросы отвечал коротко:

— Ничего не знаю. И ведать не ведаю. В гости ходил. От живота лечился, а чтобы что про царя — ни-ни. Никогда.

Остальные подсудимые подтвердили слова Трифона, а Турганов в последнем слове очень пожалел, что не успел как следует познакомиться с Трифоном и пробудить в нем революционное сознание.

Судьи совещались до глубокой ночи. Наконец зазвенел колокольчик.

— Суд идет! Прошу встать! — объявил судебный пристав.

Баратова, Турганова и трех их товарищей приговорили к каторжным работам на восемь лет каждого, а Трифона отправили на поселение в Сибирь.

Глава VII

— А я, маменька, вот что скажу, — то и дело прикладываясь к отекавшей руке тещи, доказывал

Николай Николаевич. — Вы говорите, книги все сжечь, — восхитительно! Хотите просить губернатора пригнать солдат к нам, — бесподобно! Подписываюсь обеими руками. Приказываете не очень дразнить наших рабочих, — гениально!

— Да ну тебя с твоими прибаутками! Все уши мне прожужжал. Нет того, чтобы сразу сказать, всегда с подходцем.

— Маменька! Вы тысячу раз правы! Я и сам ненавижу себя за многословие. Но натура. Ничего не поделаешь... Однако молчу. Перехожу прямо к делу. Концентрация, маменька.

— Чего?

— Кон-цен-тра-ция... И я, и Танечка...

— Ну, ты! — рассердилась Доброва. — Ты мне, пожалуйста, Таней под нос не тычь. Нашел тоже кого в дела ввязывать!

— Я к тому, маменька, что время такое, — всякому младенцу и то все ясно.

— Выходит, только мне, старой дуре, невдомек? Так, что ли?

Рылин заткнул пальцами уши и отчаянно замочал головой.

— Я прошу вас не оскорблять меня! Я не хочу слушать вас!

— Ну, будет тебе театры разыгрывать! Выкладывай, что тебе надо.

Николай Николаевич дрожащей рукой налил стакан воды, залпом выпил, обмахнулся платочком и точно в крайнем изнеможении опустился на стул.

— Пуп всего фабричного организма, маменька, теперь — концентрация. Промышленники должны немедленно объединиться. Большое количество фабрик больше абсолютно никого не устраивает.

Половина из них лопнет непременноим образом. Уже лопаются, маменька.

Николай Николаевич, конечно, знал, что Добрава и без него все хорошо понимает, а упирается лишь потому, что боится потерять единоличную власть над фабрикой. Поэтому-то он и долбил беспрестанно о необходимости объединить капиталы, надеясь донять ее своими вечными пристава-ниями и хоть таким путем вырвать согласие.

Екатерина Осиповна по-мужски заложила ногу за ногу и крепко задумалась.

Да, Рылин прав. Надо как можно скорее на что-то решиться. А, боже мой, давно ли ушло то счастливое время, когда не только у нее, но и у мелких, едва сводивших концы с концами фабрикантов всегда имелись про запас кое-какие наличные деньги? Разве для того, чтобы продать товар, нужно было ездить куда-то за тридевять земель, в Ташкент, Ирбит или Нижний? Покупатели сами находили ивановцев, толпами приезжали из ближних и дальних мест. И такой был торг на гостинном дворе, что иной раз московские люди — и те только диву давались!

С той же поры, как завелась чугушка, все пошло совсем по-другому. Москва стала узловой станцией торговой России и перетянула к себе всю торговлю.

И ко всем этим прелестям в прошлом году прибавилась еще новая беда. Едва ивановцы приехали на ирбитскую ярмарку, как азиатские купцы вдруг объявили:

— Хороший товар. Берем товар. Только платить за него будем не сейчас, а через год.

Вот и пораскинь тут умом, выкручивайся, как знаешь.

Екатерина Осиповна поднялась со стула и грузно зашагала по комнате.

— А и трудненько стало жить нынче, — пробасила она. — Как быть, не придумаю.

— Один выход, маменька, — концентрация.

— Уж видно, что так.

— Значит, согласны? — встрепенулся Рылин.

— Ничего не согласна! — вдруг рассвирепев, закричала Доброва и вышла из комнаты.

Николай Николаевич ухмыльнулся. «Беситься уже начинает, — подумал он, — значит, дело на мази».

Управляющий был терпелив и упрям. Раз нужно, он может и подождать. Зато уж, если мечта его осуществится, он сразу очутится на вершине счастья, — станет одинаковым с Добровой хозяином фабрики. О, для этого стоит терпеть, угождать и кривляться!

И Рылин, в ожидании будущих благ, продолжал неустанно трудиться на благо фабрики.

Доброва не могла пожаловаться на Николая Николаевича: лучшего управляющего и зятя ей не найти бы вовек.

Да и в самом деле: пройдите на Ново-Заднюю и Старо-Волостную улицы и взгляните, какая там, прилежаниями Рылина, построена каменная ситце-набивная фабрика. Загляденье! Краса всего города!

Но не подумайте, что только на этом успокоился Николай Николаевич. Не успели, можно сказать, просохнуть стены нового зданья, как он уже отправил возведенного недавно (впрочем, без единой копейки прибавки к жалованью) в должность доверенного Мельникова во Владимирское губернское правление с ходатайством о разрешении ка-

Менной постройки для паровых котлов и переборки миткаля.

Работа кипела. У фабрики постоянно толпился народ.

По утрам, ровно в семь, из ворот выходил недавно принятый на должность заведующего расчетом Плоткин.

При его появлении все мгновенно стихало. Кое-кто из толпы снимал шапку и низко кланялся.

К таким Плоткин направлялся в первую очередь.

Однажды заведующий обратил внимание на босого, одетого в тряпье Гришу.

— Тебе сколько годов?

— Семнадцатый.

— А сам откуда будешь?

— Из Софийки.

— Что ж, — сочувственно произнес Плоткин, — надо подмогнуть как-нибудь. Только худ больно, в чем душа держится? Ну, да ладно. Давай документ. Ты сам чей же будешь?

— Семушкин я. Трифона-отбельщика сын.

— Что-о?! — отпрянул заведующий. — Да как ты смел, сукин сын, со мной разговаривать?!

И, трусливо озираясь, Плоткин поспешил к другому концу толпы.

Гриша долго глядел ему вслед, потом вобрал голову в острые плечики и поплелся к соседней фабрике.

Но, как всегда, ему всюду отказывали в работе.

К вечеру Гриша по привычке вернулся к фабрике Доброй, где ему всегда перепало что-нибудь от знакомых.

Вскоре раздался гудок. Люди высыпали на улицу.

Гриша снял с русой головы картузишко и застыл у забора.

Собрав немного сухарей, подросток совсем уже было направился к Покровской горе, на ночлег, как к нему подошла работница переборочного цеха старуха Евграфовна.

— Здравствуй, Гришутка! Как жив?

— Бог милует, бабушка. Только плохо. В грудях щемит, мочи нет. Да еще в брюхе урчит и урчит.

— От голоду это, — вздохнула старуха и положила руку на его плечо. — От голоду, паренек. Я вот тоже так-то. Иной раз сплю, а сама вижу, будто щи на столе.

Из фабричных ворот вышел сторож.

— Пойдем, бабка, — встревожился Гриша. — А то опять погонят взащей.

Евграфовна засемила рядом с Гришей.

Несмотря на поздний час, всюду, куда лишь падал взгляд, стояла густая едкая пыль от построек. Там возводились новые фабричные корпуса Каманиных, здесь, из-за лесов, виднелся уже почти готовый особняк Ярамовского, впереди заканчивали облицовкой собор, в стороне отделявались лавки с жилым помещением на втором этаже.

Город плавал в жирной, седой от извести и каменной муки, грязи.

Далеко, во все концы, все шире, победнее раскидывалось ситцевое иваново-вознесенское царство.

— Ты куда же? — спросила Евграфовна, когда Гриша остановился на одном из перекрестков.

— В бор, ночевать.

Женщина насупилась.

— Чать, холодно теперь там. Время-то к покрову.

— А мы в куче жмемся, нам и тепло. Нас много там.

— Тепло! Тоже сказал! А дальше как будешь? Зимой-то? — ворчливо, но с тем теплым, подкупающим оттенком в голосе, который присущ заботливым матерям, произнесла переборщица и внезапно строго прибавила: — Нечего там! Ступай ко мне жить.

Гриша послушно двинулся за Евграфовной.

Вскоре они очутились на окраине города, в местечке Ямы. Там, всюду, куда только падал взгляд, высились холмы грязи и мусора. В канавах гнили помои и всякая падаль. Среди пустырей, без всяких признаков хозяйственных служб, стояли кое-как сколоченные избы. Вокруг — ни деревца, ни кустика, ни травинки.

Старуха и неожиданный ее постоялец остановились перед одной из вросших в землю хибарок.

— Вот мы с тобой и дома. Входи.

«Дом» являл собою одну-единственную низенькую и тесную комнатенку с земляным полом, на котором лежали готовые ко сну человек семь постояльцев.

Помолившись, переборщица разделила с Гришей убогий ужин и полезла на печь.

— Ходи и ты сюда.

Лежавший на печи муж Евграфовны, слесарь Прохорыч, лениво приподнял голову.

— Ну, кого еще ведешь? И так негде повернуться, а она... — Но, увидев Гришу, сразу подобрел. — А, Гриша! На зимнюю квартиру, выходит, пришел... Ходи, ходи на печь, не сумлевайся.

Устроившись за спиной старика, Гриша сладко потянулся, зевнул во весь голос и тотчас же, согретый лаской старухи, сладко, как в дни раннего

детства под крылышком матери, безмятежно заснул.

Была поздняя ночь. Погруженное в мрак местечко Ямы больше походило на старое заброшенное кладбище, чем на людское селенье, — ни огонька, ни человеческого голоса, ни лая...

Измученные долгим рабочим днем, крепко спали обитатели Ям...

Не спалось лишь Евграфовне, растревоженной встречей и разговорами с бесприютным Гришей. Она то и дело ворочалась, приподнималась на локте и беспокойно прислушивалась к дыханию нового постояльца. С каждой минутой ей все более становилось не по себе. В голову непрошено лезли безрадостные, давно приглушенные воспоминания. Всплыли детские годы, как живую, увидела она хромую мать...

— Ты чего егозишь? — недовольно засопел Прохорыч, проснувшийся от случайного толчка жены.

— Сумно мне... И сама не пойму, что со мной дееется нынче.

— Спи... То от жалости у тебя... Гришка растеребил...

— А что я хочу тебя спросить, Прохорыч? Почему, никак в толк не возьму, бог столько горестей на людей посылает?

— Что я — поп, чтобы о божьих делах рассуждать? На то его божья воля выходит.

— И никогда-то я, Прохорыч, про такие дела не думала, а сейчас пристала ко мне дума эта, и никак ее не выгоню из головы. Почему, рассуди, все страсти господни и крест его святой дадены одним нам? Почему не все люди несут его, каждый в меру свою?

Голос ее вдруг зазвучал недобрыми нотками.

— А ты спроси завтра у мастера или у Плоткина, — зло проворчал слесарь. — Они тебе так ответят, вовек не наладуешься.

— И спрошу! — крикнула Евграфовна. — Приду на фабрику и спрошу. Думаешь, испугаюсь?

От крика проснулся один из жильцов — рабочий с фабрики Дубкова, Онуфрий.

— Нажрутся вина, — слезливо задергал он зосом, — а ты тут сна решишь из-за них.

— Какое вино! — вздохнул Прохорыч. — Не от вина, она от Гришки в сумленье вошла...

Незаметно, слово за словом, все трое, начав с судьбы Трифона и его сына, перешли на разговор о себе.

— Одно скажу, — посетовал Онуфрий, — хуже нашей дубковской фабрики нету. Совсем задавили. А тут еще понадумали эти самые серии. Выдадут серию, да к ней же и присчитают вперед за месяц проценты. А как на серии жить? Вот и продаем их туда же в контору, с убытком. Грабеж!

— И нас тем же потчуют нынче, — зло, сквозь зубы, процедила Евграфовна. — Одним миром мазаны, что твой Дубков, что наша Доброва. А только чую, кончится, как у вас. Всем миром восстанем.

— Эк сине море в рукомойнике разбушевалось! — иронически ухмыльнулся Прохорыч. — Испугались тебя! Восстанешь, и быть тебе, как Онуфрию, без работы. Его выгнали, а тебя помилюют, думаешь?

Онуфрий подошел к печи и присел на загнетку.

— А ведь Евграфовна и впрямь ловко придумала. Что, ежели весь город поднимется? Ей-богу, здорово! Посмотрим, что тогда мой Дубков запоет!

И, увлекаясь, Онуфрий принялся за рассказ о недавней стачке на фабрике Дубкова.

Евграфовна и Прохорыч уселись на печи и с вниманием слушали.

— Вот это, значит, — возбужденно вспоминал Онуфрий, — как высыпали мы все на двор, да как закричим: «Довольно! Не хотим больше даром работать!», «С голоду пухнем!», «Задавили работой!» — да как двинем к самой конторе, — ужасно, что переполоху наделали!

Тяжело вздохнув, рабочий уже тихо продолжал рассказывать, как из конторы, окруженный городскими, вышел сам фабрикант. Косолапя и чуть переваливаясь, он направился в самую гущу толпы.

— Прибавочки домогаетесь? — ехидно усмехнулся он. — Ладно, уважим. Десять процентов прикинем. — И вдруг сжал кулаки. — Только помните: прибавка будет до первого октября, а там, к зиме, половину людей рассчитаю. Потому никакой казны нехватит, ежели зимой на эдакой большой дачке держать вас.

Людская лавина заколыхалась, вскипела, готовая хлынуть на Дубкова, подмять его, растоптать.

— Серии отмени!

— Штрафы сбавь! Раздели штрафами вашими!

— Да что с ним толковать! Круши все, ребята!

Но тут внезапно распахнулись ворота, и на двор вошел отряд солдат.

Растерявшийся было Дубков вновь осмелел и, прорвавшись к солдатам, величественно сложил на груди руки.

— Еще чего требуете? Ну-ко, выходи, кому плохо живется у нас!

Заметив, что окончательно выведенные из себя наглым тоном Дубкова люди готовы ринуться на фабриканта, поручик отдал команду.

В то же мгновение солдаты взяли ружья наперевес.

— По цехам! — крикнул поручик. — Предупреждаю — буду стрелять!

Рабочие не двигались с места.

— Раз! Два! — принялся отсчитывать офицер. — Три!

Солдаты бросились на беззащитных рабочих...

Через час все было кончено. На фабрике наступило «успокоение».

На другой день всем рабочим дали расчет, а еще через день начался новый набор, с «великой протрусской», как смеялся Дубков, всех негодных ему людей.

...Ночь подходила к исходу. С оконца медленно, лениво сползал черный покров. На прокопченные стены легли мутные пятна рассвета. Стали виднеться лица спавших вповалку жильцов. Блаженно улыбалась какая-то девочка, крепко обнявшая за шею мать. По тряпью, вспугнутые рассветом, шарахались тараканы. С потолка, к иконе, спускался паук...

Едва войдя в переборочную, Евграфовна бросила бумагу под ноги мастеру.

— Получай свою серию! Жри ее сам!

Рабочие ахнули, пораженные дерзостью женщины. Они не узнавали ее. Крайнее возбуждение, проснувшееся человеческое достоинство, ненависть словно бы преобразили Евграфовну. Гнев расправил морщины, сделал лицо молодым, величественно-прекрасным. Щеки полыхали румянцем, упрямым стальным блеском светились глаза. От всего существа работницы, стоявшей с высоко поднятой головой, веяло могучей, несокрушимой силой.

Оцепеневший на мгновение мастер вдруг размахнулся с плеча. Кто-то схватил его за руку и отбросил.

— Будет глумиться! Натешился!

В ту же минуту всех людей словно пронзил электрический ток, как будто все лишь ждали этого выкрика.

— Требовать будем! Сам жри свои серии!

— Зови солдат, кровосос! — не своим голосом взывала Евграфовна. — Хучь из пушек пали!

Цех опустел. Со всех концов к восставшим переборщикам уже бежали другие рабочие...

Рылин примчался на фабрику ни жив, ни мертв. За ним тотчас же прикатила Доброва.

— Не надо охраны! — в первый раз за все время службы заревел Николай Николаевич на Мельникова, предложившего взять с собой на двор сторожей. — И вы прочь от меня уходите! Идемте, маменька! И держитесь так, что вы ничего будто не знаете!

Завидев хозяев, Евграфовна бросилась к ним навстречу.

— Отмени, Катерина Осиповна, серии! Добром просим! Жить стало невмоготу!

— Какие серии? — поразилась Доброва. — Что они говорят? Объясни, Николай Николаевич!

Рылин сделал вид, будто теперь только все понял, и сразу стал совершенно спокоен.

— Ах, так вот в чем дело, друзья мои! А я думал, что бы это за беда вдруг случилась?

— Или серии для тебя не беда? — обдала его Евграфовна полным негодования взглядом.

— Постой, голубушка. Чать, не в трактире... Давай лучше толком...

И обратился к примолкшей толпе:

— Я должен сказать, друзья мои, что серии — временная мера. В ближайший срок эта мера будет отменена. Понимаете, небольшая заминка. Вот и все. Поэтому я не счел нужным даже докладывать нашей уважаемой Екатерине Осиповне. Надеюсь, все теперь ясно?

Рабочие почувствовали что-то похожее на неловкость. В самом деле все обернулось сразу как-то не так. Угораздило же их заговорить только о сериях, а про все остальное не сказать ни слова! Как теперь вспомнить о других обидах? Надо было раньше толком все обсудить, а потом уже выступать.

— Чего уж, — раздалось неуверенно. — Раз так, значит, так. Пускай хоть серии покуда отменят.

Доброва строго поглядела на зятя.

— Запомни, Николай Николаевич: без меня никаких новостей чтоб не было больше. А как только нужда пройдет, серии эти твои — долой.

— Слушаюсь, маменька! — покорно склонился Николай Николаевич и, взяв тещу под руку, неспеша отправился с ней в контору.

Вечером Рылин вызвал к себе старшего мастера переборочной.

— Кто там еще горланил кроме той старой ведьмы?

Мастер назвал несколько имен.

— При первой же возможности — выгнать. Только, пожалуйста, аккуратно, без всякого шума.

— Будет исполнено, Николай Николаевич.

Когда мастер ушел, управляющий принялся в десятый раз перечитывать составленное Мельниковым донесение полицмейстеру «о том, как Евграфовна вместе с другими бунтовщиками при-

звала рабочих к ниспровержению установленных законом фабричных порядков».

— А как же с сериями? — спросил Василий Петрович.

— С сериями? Ну, да об этом после. Раньше всего нужно разделаться с горлопанами. Тогда остальные сами понемногу угомонятся.

— А вдруг?

— Что вдруг? Там видно будет... Где смета котельной?

Василий Петрович начал суетливо рыться в бумагах.

Глава VIII

Рылин задумал большое дело. «Строиться так строиться, чорт побери, — рассуждал он. — Рубль пожалеешь, сто потеряешь».

Возведенные на реке Уводи заварка, артельная кухня со спальнями для рабочих, конюшни и другие постройки, которыми так недавно еще гордился Николай Николаевич, теперь казались ему до того жалкими, что «стыдно было признавать их владениями такой почтенной особы, как Екатерина Осиповна».

Рылин, Мельников и архитектор ежедневно тратили по несколько часов на обсуждение плана будущих корпусов и примерной стоимости построек.

Совещания всегда происходили в присутствии Добровой и Татьяны Ивановны.

Но обе женщины были только немymi свидетельницами страстных споров, а когда кто-либо обращался с вопросом к хозяйке, она с несвойственным ей раньше безразличием махала рукой и продолжала упорно молчать.

Под конец совещания вдова устало поднималась.

и, не простившись ни с кем, медленно уходила из комнаты.

От споров у нее в последнее время оставался почему-то неприятный осадок в душе, что-то похожее на раздражение и тревогу.

Екатерина Осиповна пыталась ни о чем не думать и как можно скорее заснуть. Однако сон, как назло, не приходил. Заплывшие, точно испуганные чем-то глаза устремлялись на старинный образ Иоанна-крестителя, а губы, без участия разума и сердца, принимались шептать раз навсегда заученные с детства слова молитвы.

В доме все постепенно смолкало. Отчетливо тикали стенные часы. Дремотно потрескивал тонкий язычок серебряной, в рубинах, лампады. В полусумраке со стены, болезненно щурясь, глядел на жену покойный Иван Иванович.

Вдова невольно переводила взгляд на портрет и вдруг преисполнялась такими страшными предчувствиями, такой жестокой тоской, что готова была бежать без оглядки из спальни.

Но постепенно она брала себя в руки, снова, уже с проникновением, принималась за молитву и вскоре начинала чувствовать, как на нее нисходит тихая покорность неизбежной судьбе.

— Вижу, вижу, Иван Иванович, — всхлипывала Добрава. — Скоро приду к тебе, многогрешная.

Тело словно бы наливалось густой, тяжелой жидкостью, невероятно толстые ноги еще больше отекали, мучительно ныли.

Призрачные блики лампады ложились на лоб и щеки грязно-синими пятнами, — от этого лицо казалось мертвым и уже тронутым тлением...

— Вижу, вижу, Иван Иванович, дни мои сочтены, — словно упиваясь страданиями, твердила

Доброва сквозь горячие слезы. — Человек, яко трава, и дние его, яко цвет сельный, тако отцветут... Прости, владычица, тяжкий мой грех перед супругом моим.

Изо дня в день Екатерина Осиповна все более привыкала к мысли о скорой кончине. Она даже до того осмелела, что без колебаний, по-деловому, как водилось у ревнителй древнего благочестия, указала вызванному гробовщику, какую он должен ей «сколотить домовину», и собственноручно сшила для себя саван и «смертные туфли».

Не позабыла Доброва и о живых. Запершись однажды с дочкой в спальне, она привлекла ее к себе, крепко поцеловала в губы и потом торжественно объявила, что все добро и все деньги завещает лишь ей одной и ни копейки не «отписывает» на Николая Николаевича.

— И помни, дочка: покуда можно, держись. Сама будь полной хозяйкой. Зря не обольщайся товариществом. Как бы, хозяином став, не переменялся к тебе Николай. Ты его деньгами не очень-то балуй...

Татьяна Ивановна смахнула набежавшие слезы и поклонилась матери до земли.

— Живи, маменька. Не покидай меня одну.

— Нет уж, Танюша. Чувствую, зовет меня к себе твой отец, — убежденно произнесла Доброва и, осенив себя двуперстным крестом, обратилась к кноту: — «Каплям подобно дождевым, злии и малии дние мои, летним обхождением оскудевающе, по малу исчезают уже, владычица, спаси мя...»

Потом еще раз привлекла к себе дочь, поцеловала ее в преждевременно поблекшие близорукые глаза и плюхнулась на пуховик.

Николай Николаевич считал своим долгом по не-

скольку раз на день проведывать не встававшую с постели тещу.

Екатерина Осиповна каждый раз, когда ловила на себе его скорбные взгляды, недовольно кривилась.

— Неужели так я стала плоха, что без горести и глядеть нельзя на меня?

— Что вы, маменька! Да вы сегодня совсем хороши. Уверяю вас, это ваши нервы шалят.

— Ну, пошел тарыхтеть, — незло ворчала Доброва. — Вечно я хороша у него. Ежели верить тебе, сущий ангел я, не человек.

— Каков субъект, маменька, таков и объект. Глядя на вас, нельзя не восхищаться вами.

Едва покинув больную, Рылин влетал к себе в кабинет, бухался в кресло и, любясь сверкающим на его мизинце бриллиантом, подарком тещи в день ангела, весь отдавался мечтаньям.

Сознание, что, может быть, очень скоро жена его станет единственной владелицей всех «добровских сокровищ», кружило голову, окрыляло. «Теперь мы покажем себя! — задыхаясь от счастья, мысленно восклицал он. — Теперь скоро узнают ивановцы, на какие невиданные предприятия способен Рылин!»

О том, чтобы попросту воспользоваться неопытностью и безволием по уши влюбленной в него жены и перекачать в свои карманы ее капиталы, он и мысли не допускал, считал унижительным для себя. Рылин вовсе не собирался устраивать только свою личную судьбу. Как-никак, а он русский человек, цивилизованный промышленник, и не может не способствовать процветанию отечественных мануфактур. Да и помимо того, у него есть жена, которая собирается подарить ему скоро на-

следника. Кто же, как не он, обязан позаботиться о благополучии семьи? А благополучие — это опять-таки хорошо поставленное фабричное дело — «Товарищество добровольской мануфактуры».

Готовясь к учреждению товарищества, он все силы отдавал на то, чтобы к долгожданному этому дню фабрика приготовилась, как говорится, во всеоружии.

— Все у нас должно быть по последнему слову техники, — непрестанно твердил управляющий. — Так сказать, последний крик моды. Рабочим, — и тем построим такие спальни... упоение!

Как-то в праздник, прогуливаясь с женой и Мельниковым за городом, Николай Николаевич наткнулся на Гришу. И он и Татьяна Ивановна с большим участием поглядели на оборванца, скорее похожего на обтянутый кожей скелет, чем на живого человека. Они хотели позвать его к себе, чтобы подать милостыню, но Мельников остановил их.

— Плюньте! Это Трифона-отбельщика сын. Того самого Трифона, который против царя бунтовал и книжки разбрасывал.

— Ах, вот кто! Помню, помню. Ты слыхала, Танечка, про это дело?

— Про социалистов?

— Совершенно верно, Танюша. Ужасно! Прямотаки ужасно!

Рылин нахмурился, сдвинул густые брови, но вдруг прищелкнул весело пальцами.

— А что, моя козочка, если мы этого паренька устроим на фабрику? Как ты думаешь? Взять и сразу двух зайцев убить! Во-первых, если он успел набраться отцовского духа, мы его постараем-

ся сделать ручным, а во-вторых, рабочие после такого благодеяния на руках нас будут носить. Как ты думаешь, Танечка?

— Конечно, Коленька, надо взять его.

Рылин окликнул Гришу.

— Что это ты без дела разгуливаешь? Неужели до сих пор без работы?

— Нигде не берут, — хмуро ответил Гриша.

— А хочешь работать?

— Кто же работать не хочет?

— Ну, тогда держи... Сейчас...

Николай Николаевич достал из кармана люстринового пиджака блокнот и карандаш и черкнул на имя Плоткина записку.

— Утром отдашь эту бумажку господину Плоткину. Знаешь?

— Знаю. Заведующий. Всегда гонит меня.

Поутру Гриша уже работал в заварке, а поздно вечером отправился в казармы, где Плоткин, с большой неохотой подчиняясь приказу, разрешил ему жить.

Новые спальни, которые управляющий называл «роскошными», были устроены так: четыре места представляли собой общую койку, разделенную низенькими перегородками. Каждое место занималось одним жильцом. Посредине казармы, вдоль стен и между коек, — проходы. Никаких табуреток и столов у коек не полагалось. Лишь у окон серели ничем не покрытые, в жирных пятнах, небольшие столы, служившие для общего пользования.

Рабочим жилось в казармах немногим лучше, чем в тюрьме. Не заглянув в инструкцию, они не смели и шагу ступить. Но невыносимей всего было то, что даже в спальнях, после мучительно

долгого рабочего дня, нельзя было уберечься от штрафов.

Проклятое это слово день и ночь висело в воздухе, коршуном подстерегая добычу. Громко ли заговорит кто-нибудь, рассмеется, — штраф за нарушение тишины и спокойствия; запоет ли паренек песню или, пригорюнясь, развеет невзначай после восьми вечера разлюбезную русскому сердцу гармонь, — штраф; задержались ли в праздник родители чуть больше положенного времени, — штраф...

Но не только у Добровой, по всем ивановским фабрикам, точно повальная болезнь, разгуливал, заглядывая почти во все уголки жизни, вконец разоряя рабочих, штраф.

Провинился ли человек, прав ли он, — все равно. Хозяин приказал штрафовать — и нечего думать. На то и поставлены мастера, приказчики и сторожа, чтобы выполнять хозяйскую волю.

— Зачем же дачку сбавлять? — нагленько хихикал Плоткин. — Мы их лучше штрафником, штрафником...

Единственным местом, где пока что еще не штрафовали, была Покровская гора. Там люди ближе сходились друг с другом, делились печалью, узнавали, где можно рассчитывать хоть на временный заработок, или, сбившись тесными кружками, просто молча сидели, долгими часами предаваясь горьким думам о своей собачьей доле.

Поэтому, со временем, Покровскую гору прозвали в народе еще и «Думной горой».

Фабриканты начали беспокоиться.

— Что за выдумки? Стыд и срам! Почти у самого собора и вдруг устроили что-то вроде клуба. Чорт знает что! — слышалось все чаще среди купцов.

— Золотые слова! — убежденно закреплял Николай Николаевич. — Настоящий клуб у собора! Возмутительно! — И, лукаво подмигивая, прибавлял: — Хорошо бы для украшения горы, так сказать, эти самые сосны, заботами управы, спилить. И господам бесштаным клубменам будет свободнее, и нам, ха-ха-ха-ха, гораздо виднее...

Очень полюбилась Покровская гора и Грише. В праздники он приходил в бор на рассвете и там оставался до вечера. В разговорах Гриша почти не принимал никакого участия, все больше слушал других.

Только однажды, когда один из пришлых рабочих, Семен, сказал, что собирается «попытать счастья» в Сибири, Гриша вдруг страшно всполошился и срывающимся голосом попросил взять его с собой.

— Куда уж тебе, — с сожалением покачал головой Семен. — Не одолеть такому квелому великой дороги.

— Там отец мой... Возьми меня... Я помехой не буду, — умоляюще протянул руку Гриша. — Сколько годов отца не видал... А квелый я только на вид.

— Ну, да ладно, — успокоил Семен. — Там увидим.

С тех пор Семен стал самым близким человеком для Гриши.

Глава IX

Чем заметнее увеличивалось фабричное производство, тем острее ощущался недостаток топлива в Иваново-Вознесенске. И потому, когда кто-то из фабрикантов сказал, что «было бы не плохо использовать для топлива имеющиеся в окрестностях

торфяные болота», Рылин один из первых пригласил специалистов и отправился за город для изыскательных работ.

Но не успел Николай Николаевич приняться серьезно за дело, как к нему неожиданно приехал Мельников.

— Катерина Осиповна отходит! — выпалил он. — Татьяна Ивановна просит немедленно пожаловать домой.

Рылин торопливо снял шляпу, трижды перекрестился и отвернулся, чтобы не выдать охватившей его радости от неожиданного известия.

Когда Рылин явился домой, тещи уже не было в живых. Утопая в цветах, она лежала в той самой огромной «домовине», которую заказала себе при жизни.

Николай Николаевич тяжело вздохнул, вытер батистовым платочком сухие глаза и опустился на колени перед покойницей...

Доброву хоронило все именитое купечество. После «роскошнейших», как не без гордости подчеркивал Рылин, похорон Татьяна Ивановна устроила такой поминальный обед, что о нем говорили несколько месяцев.

Не забыл управляющий и о рабочих. В одно из воскресений на фабричном дворе была отслужена заупокойная литургия и каждому добровцу преподнесли по рыбному пирожку и тарелке кутяи.

Выполнив перед умершей свой долг, Николай Николаевич вскоре же представил жене подробный отчет о состоянии фабрики.

— Избавь меня, Коленька! — взмолилась Рылина. — Я ведь все равно ничего не пойму... Ты лучше посиди возле меня да сыграй ту песню...

помнишь: «Жалобно стонет ветер осенний...» Что-то нездоровится мне.

Но муж и слушать ее не хотел.

— Надо понять... Ты ведь теперь моя патронесса.

Татьяна Ивановна очень старалась, чтобы казаться сосредоточенной, но на лице ее так ясно была выражена беспредельная скука, смешанная с детской беспомощностью, что Рылин наконец не выдержал и рассмеялся.

— Да ты слушаешь меня, моя козочка?

Она в свою очередь обрадованно заулыбалась:

— Хоть убей, ничего разобрать не могу. Что это за слова вы выдумали такие?

— Какие слова?

— А вот... Пстой... Где это? Да... Вот, вот... Дебет какой-то... А в конце—баланс. А вот тут—кредит. Ну что это, в самом деле, за мученье такое!

Николай Николаевич собрал бумаги, с шумом запахнул папку и нежно обнял жену. Млея от счастья, она прикинула щекой к его груди.

— Сыграй, Коленька, «Жалобно стонет».

— С наслаждением, богиня, Геба моя!

Да, воистину, Рылину нечего было зря бога гневить! Жена его оказалась сущим кладом. С ней можно было делать все, что угодно.

И все-таки, несмотря на то, что день учреждения Товарищества добровской мануфактуры стоял уже на гряде, Николай Николаевич не чувствовал полного счастья.

— Все идет отлично, — поделился он как-то с Василием Петровичем. — Одно только меня беспокоит — рабочие.

— Это доподлинно, Николай Николаевич. Уму помраченье, до чего распоясались.

— Бедлам! Настоящий бедлам, Василий Петрович!

— Чего изволите сказать?

— Сумасшедший дом. Прямо, взбесились рабочие.

— Чего уж! Каждый день новости. То одно им подай, то другое. Даже бабье и то голос подавать начинает.

— Ужасно! Вы, конечно, понимаете, что надо быть начеку?

— Перевешать бы их, собрать подстрекателей — и на осину. Жалко, я не губернатор. — А про себя со вздохом подумал: «Да и ты хорош гусь... Сколько тружусь, а он все на полста с пятиткою меня держит, бессовестный!»

Управляющий и доверенный не преувеличивали. В городе и в самом деле было «неладно». То там, то здесь все чаще вспыхивали возмущения, стихийно останавливались цехи, на фабричных дворах, на улицах и Покровской горе собирались огромные бурливые толпы.

Все кричали, требовали, грозили, у всех горели ненавистью глаза, но не было у толпы самого главного — руководителей.

Всполошившиеся жандармы и полиция без конца строчили во Владимир и Петербург донесения о «состоянии духа рабочих» и усиленно готовились к «большим делам».

Фабриканты нетерпеливо дожидались обещанной губернатором присылки войск...

Однажды вечером в рабочие казармы пришел Плоткин.

— Ну вот, — ядовито прошипел он. — С победой позвольте поздравить.

Несколько рабочих вскочили с коек и вытянулись в струнку перед заведующим. А один оказался до того услужливым, что даже поплевал на табурет и, вытерев его рукавом рубашки, с низким поклоном подставил гостю.

— Ты бы его на спину к себе посадил! — зло крикнул кто-то со стороны.

Плоткин хотел было огрызнуться, но сдержался и продолжал тем же ядовитым, далеко слышным во всех уголках, шепотком:

— Поздравляю с победою! Добились своего, догорланились. Вышел-таки закон, по которому женщинам не дозволяется работать ночами.

— Что ж тут худого? — недоумевающе уставились рабочие на заведующего. — Ежели правду говоришь, значит, и впрямь поздравление принимаем.

— Как не по-вашему! Все в аккурате. А что тут хорошего или плохого, про то поговорим после. Ну, оставайтесь... До свиданья...

Поутру, узнав о новом законе и о том, как ловко хотят обойти его фабриканты, рабочие всего города пришли в неистовство.

Тысячи людей сразу, точно по уговору, бросили работу и гулливой лавиной ринулись к Покровской горе.

На всех перекрестках спешно выстраивались отряды солдат и городских.

К полудню шесть тысяч рабочих запрудили управскую площадь и прилегающие к ней улицы.

Перепуганные купцы наспех запирали лавки и обходными путями, крадучись, пробирались домой.

В городской управе шло суматошливое заседание.

Шум на площади нарастал, людской поток уже подкатился к парадному подъезду и ежеминутно грозил ворваться в здание.

Но вот к восставшим вышел сам городской голова, фабрикант Туркачев.

— Тише! — крикнул он властно и махнул рукой. — Если за делом пришли, так держитесь по деловому.

— А то оштрафуешь, — так, что ли? — подошел вплотную к голове Семен.

— Если надо будет, не постесняюсь, — всем существом стремясь побороть в себе страх, подчеркнуто резко ответил Туркачев. — Только об этом после. Я не с тобой одним говорю. Не мешай.

И, взбив по привычке ребром ладони седую бородку, точно в крайнем удивлении повел плечами.

— Скажите мне на милость, из чего у вас сыр-бор загорелся? Не вы ли добивались девятичасовой смены? Ну, вот вам, пожалуйста, получайте ее. Против кого же вы бунтуете?

— Против вас! — заскрежетал зубами Семен. — И брось прикидываться! Наслушались! Неужто ты полагаешь, что мы добивались отмены ночных работ для того, чтобы женщин с фабрики повыбрасывать и нам без прибавки остаться? Шалишь! Сами с усами! Так, что ли, я говорю, браточки?

— Жарь, Семен! Так!

Голова призадумался и потом, словно бы делая великое одолжение, милостиво улыбнулся.

— Что ж! Давайте поговорим. Может, до чего-нибудь и договоримся.

— А мы разве молчим? С утра говорим! — зарокотало вокруг.

— Кто же так говорит? — обиделся фабрикант. — Это ругань одна, а разговора не слышно.

Давайте толком. Выделите кого-нибудь из своих, мы и поговорим. А сами на работу идите. Вот это будет по-настоящему.

— Вот, вот, вот! Договорился! — подмигнул Семен толпе. — Видали его? Работать гонит. Нет уж! Нароботались! Будет! Ты без обиняков скажи: будет или не будет прибавка?

— Хорошо! — крикнул Туркачев. — Таких дел я сам решить не могу. Сейчас доложу фабрикантам.

И скрылся в подъезде.

Управцы по выражению лица Туркачева поняли, что переговоры его с рабочими окончились неудачей.

— Точно с цепи сорвались, — прорычал голова. — Теперь одно осталось: оттянуть время. Дождаться, покуда казаки прибдут.

До самого вечера рабочие терпеливо простояли на управской площади. Но ответа на свой вопрос так и не получили.

Позднею ночью толпы начали редеть, усталые люди один за другим расходились по своим углам.

А утром повторилось то же самое. Город пробудился от гомона, свиста, улюлюканья, гула.

Одна за другой останавливались все новые фабрики, рабочие с песнями примыкали к восставшим.

Только добровская фабрика с грехом пополам еще держалась.

Николай Николаевич, едва началось брожение, сам созвал всех своих рабочих и объявил, что «по милости Татьяны Ивановны к зиме будет дана прибавка всем, кто не примет участия в стачке».

— А порука какая? — несмело спросили его.

— А порука — приказ. Сейчас будет отдан приказ.

Началась разногласица. Одни настаивали, чтобы прибавка была дана немедленно, другие стали на сторону Рылина, третьи растерянно мялись, не зная, на какую сторону перекинуться.

— Итак, требований больше нет? — дружески, как говорят обыкновенно люди, которые после многих недоразумений сумели наконец найти общий язык, произнес управляющий.

— Выходит, будто и так, — поддакнул кто-то ему. — Пиши приказ.

Рабочие разбились на группки, пошумели немного и почти все неуверенно разошлись по цехам.

На дворе осталось лишь около десятка людей, среди которых был и Гриша.

— Ну, и катитесь! — крикнул Плоткин. — Вон со двора!

Гриша разыскал в толпе Семена и подошел к нему.

— А ты тут зачем? — взволновался пришлый.

— С тобой хочу, дядя Семен.

— Отправляйся лучше отсюда. Как бы не убили еще.

Гриша вдруг выпрямился во весь свой маленький рост.

— Не могу больше на фабрике быть! Не гони, дядя Семен!

Семен с отцовской нежностью поглядел на Гришу.

— Хороший ты паренек. Ну, быть по сему. Оставайся. Авось, обойдется...

Узнав о «самочинных действиях» Рылина, фабриканты освирепели.

— Да это изменою пахнет! — потеряв всякое представление об учтивости, кричали они, собрав-

шись в доме Татьяны Ивановны. — Да за такие дела вашего мужа надо вон с фабрики гнать. Как он смел без нас с рабочими договариваться?!

Рылина только краснела и просила поговорить с мужем, в дела которого она никогда не вмешивалась.

Кончилось тем, что с Татьяной Ивановной приключилась истерика. Фабриканты так ни с чем и ушли от нее.

Наступил уже вечер, а огромные толпы все еще заливали управскую площадь. Городской голова трижды выходил на улицу для переговоров.

— Поверьте, — утверждал он, клятвенно поднимая руку, — все, что возможно, мы сделаем, если вы станете на работу. Выберите уполномоченных. Мы с ними как-нибудь договоримся.

После долгих пререканий несколько человек вызвались идти добровольно в управу.

Вся толпа осталась дожидаться возвращения товарищей.

Часам к девяти вечера городскому голове доставили пакет.

Распечатав его, он с наслаждением прочитал:

«Продержитесь еще немного. По распоряжению его превосходительства господина владимирского губернатора, в Иваново-Вознесенск направлены две сотни казаков».

Утром, едва стачечники собрались у Покровской горы, их внезапно окружил казачий отряд.

— Разойдись! — крикнул подхорунжий. — Разойдись, сволочь!

Семен ухватил за руку Гришу.

— Беги! Слышишь? Кому говорю?

Но Гриша не двинулся с места.

— Куда же я пойду? Нешто они тронут нас? За что трогать нас?

И словно в подтверждение его мысли кто-то с недоумением обратился к подхорунжему:

— Нам не к чему расходиться. Мы не лиходеи какие, не разбойники. Мы свое требуем.

— Ах, так! Держите ж свое! — уловив немой сигнал офицера, заорал урядник и ринулся на раскормленной рыжей кобыле в самую гущу толпы.

— Бей их! Бей, окаянных!

Все смешалось, переплелось, оделось черным туманом, как в страшном, чудовищном сне.

Казачи гнали коней, люди падали один на другого. Визжали нагайки, хлестко стегали по спинам, головам, лицам, хрустели под копытами кости...

Глава X

На Иваново-Вознесенск «снизошло успокоение». Полицейские застенки и тюрьма были переполнены арестованными. В отдельной камере сидели на карцерном положении восемь человек, добровольно вызвавшихся вести переговоры с городской головой, и с ними, обвиненный в подстрекательстве к бунту добровольных рабочих, Семен.

В больнице, охраняемые городскими, лежали раненые.

Задымили фабричные трубы. У фабричных ворот снова появились толпы безработных. Голодный, пришибленный арестом Семена, бродил по городу в тщетных поисках работы изгнанный с фабрики Гриша...

Вскоре ожила и Покровская гора. Там, «для украшения», как было отмечено в управском протоколе, в три дня были срублены все вековые кра-

савицы-сосны. Гору обрыли, округлили и помимо старой каменной ограды обнесли еще железной решеткой.

Так, обогрелая кровью, была уничтожена «Думная гора» — первый клуб иваново-вознесенских рабочих...

Рылин торжествовал.

— Ну, как? — восклицал он, позируя перед женой. — Кто оказался прав? Ох, уж эти мне дуэлянты на рапирах! К чему было спорить, когда все можно сделать культурно, с хорошей улыбкой. Не так ли, моя милая козочка?

Он глядел на Татьяну Ивановну глазами влюбленного.

— Ты подожди немного и увидишь еще не то, моя Венера Милосская! Пусть только будет учреждено товарищество! Ого! Как мы себя покажем тогда!

Николай Николаевич все уши прожужжал жене разговорами о товариществе. Но странно, — во всем покорная ему Татьяна Ивановна тут вдруг уперлась и совсем стала похожа на мать. «Подождем да подождем», «Куда торопиться?», «Да нам и так пока хорошо», — вот что только и можно было услышать от нее.

Убедившись, что добром жену не пронять, Рылин пустился на новую хитрость. Он вдруг ни с того, ни с сего резко изменил свои отношения к Татьяне Ивановне.

«Словно бы изурочили Коленьку, — не на шутку встревожилась Рылина. — Уж, не приведи господь, не завел ли он шашни где-нибудь на стороне?»

И через свою приживалку учинила за мужем тайный надзор.

Но с этой стороны все оказалось благополучно.
— Да что же случилось с тобой? — не выдержала наконец Татьяна Ивановна. — Почему ты перестал смотреть на меня?

— Ах, вы хотите знать, почему? Хорошо! — нервно забегал Рылин по комнате. — Хорошо, идемте в детскую. Я при нашем младенце, при Ванечке, скажу всю унижительную для меня истину.

В детской он остановился перед кроваткой годовалого наследника и трагически схватился за голову.

— Прости меня, Ванечка! Ты когда-нибудь поймешь меня. Ты поймешь и не осудишь за то, что честь твоего отца не позволила ему быть приказчиком собственной жены и сына!

Татьяна Ивановна все поняла.

— Коленька! Опомнись! Да как ты можешь так думать?

— Довольно! — отрубил Рылин. — Я не желаю быть посмешищем для людей. — И точно от непереносимой боли перекосил в жестокой гримасе лицо. — Э, да что люди! Не в этом катастрофа. Дело может погибнуть! Вот в чем трагедия вся.

«Опять то же самое!» — со вздохом подумала Рылина и с кошачьей нежностью потерлась шершавой щекой о руку мужа.

Он не ответил на ласку.

— Вот что, Татьяна Ивановна. Я прямой человек и привык правду-матку рубить в лицо. Я люблю вас безумно. Но служить приказчиком у вас и нашего сына больше не буду. Я уйду управляющим к дядюшке.

— Что-о?!

— Вопрос решен. Прошу больше не возвращаться к нему. Прощайте, Татьяна Ивановна.

Он приник к груди спящего ребенка, потом решительно разогнулся, обвел детскую прощальным взглядом и направился к двери.

— Коленька! — не своим голосом вскрикнула Рылина. — Коленька! Не уходи! Я на все согласна!

Николай Николаевич бросился в объятия жены...

В тот же день Рылин явился к Ярамовскому.

— Я к вам с предложением, дядюшка, — выпалил он, едва успев поздороваться.

— Ну те-ко, послушаем, что еще надумала беспокойная твоя голова.

— Хочу предложить вам войти пайщиком в учреждаемое Татьяной Ивановной Товарищество добровольской мануфактуры.

Ярамовский сразу нахмурился.

— Ищи, племянничек, других дураков. Я еще не спятил покуда. Сам желаю хозяйствовать.

— Но конкуренция, дяденька!

— А мне наплевать. Я выдержу. Сам знаешь. Хватит мошны. Не одного еще и сам проглочу и тобою еще закушу.

— Как угодно, дяденька, — с искренним сожалением вздохнул Николай Николаевич. — Я для вашей же пользы. Не мне доказывать вам, что концентрация...

— Ну, ну, ты это брось. Я тебе не Катерина Осиповна. Ты меня иноземными словами не проймешь... Не таковский. Да и кроме того, хорошо знаю, каково дитю живется при семи-то няньках. Нет уж, сам себе хозяином хочу быть.

И достав из письменного стола бумагу, Ярамовский протянул ее Рылину.

— Полюбуйся, каково у меня. Нуко-ся, вслух.

— С удовольствием, дяденька. Что это за слово, не разберу? Ах, понял. Так, значит:

«Денная работа начинается в пять часов утра, а кончается в восемь часов вечера. Между этим временем предоставляется два часа на обед. За каждый самовольно прогуленный день рабочие подвергаются взысканию, равному цене рабочего дня, и, кроме того, задерживается причитающаяся им плата за все прогульное время... Болезнь рабочего, продолжающаяся более двух недель сряду, дает право заведующему фабрикой расторгнуть договор о найме с рабочим... В воскресные и праздничные дни от числа рабочих двое поочередно обязаны оставаться при фабрике для исполнения дежурства, — особой платы за это не полагается...»

Ярамовский высокомерно взглянул на племянника.

— Видал, как у нас? Ежовые рукавицы, вот как! А ты говоришь... А ежели кто голос подаст, так тот пускай загодя котомку готовит! Со света сживу!..

— Но, дяденька! Какая же разница? Ведь это почти то же самое, что и у нас. Разве мы потачку даем? Да если кто-нибудь посмеет... Помните переборщицу Евграфовну?.. Так и подохла в участке... Нет, у нас почти так, как у вас...

— То-то же, что «почти». А мы куда без «почти» проживем... Чем потчевать тебя? Мадеры хочешь?

Рылин отказался и, посидев еще немного из вежливости, распростился с неподатливой дядюшкой.

Прямо от Ярамовского Николай Николаевич отправился домой и вызвал к себе Мельникова. Они заперлись в кабинете и долго о чем-то шепотком говорили.

Василий Петрович воспрянул духом. Теперь он

снова спокоен за свою судьбу, как было при жизни Доброй. Рылин доверяет ему такое дело, которое свяжет их навсегда, во всяком случае на долгие годы. А он-то сомневался в Николае Николаевиче, думал, что тот не посовестится лишить его службы, как только подвернется какой-нибудь более близкий ему по духу человек. Да, теперь его не только не погонят со службы, а уж без сомнения дадут и прибавку. Ого! Еще как дадут. Много не дадут, а четвертной билет обеспечен.

— Будьте спокойны-с, Николай Николаевич, — преданно заглядывая в глаза управляющему, промолвил доверенный. — Смею сказать, все будет в ажуре. Так точно-с.

Было уже довольно поздно, когда Мельников пришел в гости к старшему механику ярамовской фабрики, Спиридону Тимофеевичу Стукову.

— Ба! Василий Петрович! — обрадовался хозяин. — Прямо к ужину, можно сказать. А раз к ужину угодили, значит, у вас теща живая. Примета верная, непременно вас оженим.

— Я на минуточку, Спиридон Тимофеевич. На парочку слов.

— Дудки-с! Без соли, без хлеба — плохая беседа.

Отужинав, Мельников перешел с хозяином в зальце и там, не мудрствуя лукаво, приступил к делу.

Прощаясь, он достал из кармана триста рублей и передал Стукову.

— Извольте задаточек получить, Спиридон Тимофеевич. А как все сделаете так точно, еще семьсот до единой копейки.

Поутру к Ярамовскому явился сам не свой помощник механика.

— Несчастье, Мирон Фирсович! Две аварии сразу...

С тех пор и пошло. Что ни день, то в различных цехах выбывали из строя все новые станки и машины.

Спиридон Тимофеевич, полный «негодования», учинил слежку за рабочими.

В течение недели «на месте преступления» было изловлено около десятка человек, слывших «закоперщиками» всяких возмущений на фабрике.

А поломка машин не прекращалась.

Но самое большое несчастье ожидало еще впереди.

Отправив как-то в Нижний на ярмарку большую партию ситца, Ярамовский уверенно дожидался от приказчика добрых вестей.

И вдруг, среди ночи, ему доставили срочное донесение о том, что «весь ситец оказался в мазутных пятнах, а потому совершенно не годен в продажу».

Мирон Фирсович едва не лишился рассудка от этой новости и больше месяца провалялся в постели.

Как только фабрикант немного поправился, к нему с визитом прикатил Николай Николаевич.

— Слыхал, каково меня бог посетил? — завдыхал больной. — Да ежели так и далее пойдет, — разденут, по миру пустят.

Рылин ободряюще взглянул на Ярамовского.

— Ничего, дяденька! Карта не бита еще. При вашем уме все устроится, бог даст.

— Какое там! Совсем на-нет схожу. Покуда в постели валялся, все прахом пошло.

Только этого и ждал Николай Николаевич. Он вдохновенно поднялся и начал страстно доказы-

вать, как велико превосходство товарищества перед единоличным владением.

Мирон Фирсович исподтишка наблюдал за племянником и чувствовал, что с каждой минутой ему становилось все более не по себе. В душу закрадывалось подозрение. «Так, может, вон кто в машинах моих виноват? — заскреблось в мозгу. — Так, может, вон чьи это шутки?»

— Не будет по-твоему! — совершенно неожиданно для Рылина крикнул фабрикант. — Посмотрим еще, кто кого!

Сообразив, что на этот раз самое лучшее не дразнить больше Ярамовского, Николай Николаевич покорно склонил голову и словно бы призадумался.

— А ведь если разобраться хорошенько, — произнес он после долгого молчания, — так, может быть, дяденька, вы и правы. При ваших капиталах каких чудес не наделаешь...

Поболтав немного о разных пустяках, Рылин почтительно поклонился упрямцу и, шаркнув ножкой, уехал домой.

Однако не прошло и двух дней, как Николай Николаевич был уже снова у дядюшки.

— Какие дела! — прямо с порога воскликнул он. — Землетрясение! Гибель Помпей! Содом и Гоморра!

И достав из новенького, черепашьей кожи, портфеля московскую газету, поднес ее фабриканту.

— Нет, вы подумайте, дяденька! В течение полугода лопнули такие киты, как Трегубов, Коробкин, Подтеков и Соколов!

Сжав плотно губы, чтобы не выдать волнения, Ярамовский прочитал статью о том, как объединившиеся в товарищества и компании фабриканты так неожиданно резко понизили цены на все сит-

ценабивные изделия, что многие единоличные хозяева, слывшие крупнейшими богачами, оказались почти вконец разоренными.

— Эка новость, подумаешь! — проворчал Мирон Фирсович. — Без борзописцев этих самых будто не знаем, что делается. Сам в круглых убытках хожу.

Он отшвырнул от себя газету и в упор поглядел на племянника.

— А тебе советую не трудиться... Понимаешь, сказал, не пойду в компанию — и не пойду. Хватит еще пороху. Проживу и без вас как-нибудь.

С того дня Рылин больше не возвращался к своему предложению.

Но Ярамовский вскоре сам нет-нет, а начинал заводить разговор о том, «как трудно стало нынче жить честным людям», и потихоньку от племянника выписал торговый вестник.

С каждым месяцем Мирон Фирсович все больше мрачнел. Для него становилось очевидным, что компании и товарищества далеко не «преходящее» явление, как думалось раньше, а грозная и беспощадная сила. Компании диктовали цены на рынке, строили мощные, оборудованные по-европейски фабрики, имели своих людей и в министерстве торговли и промышленности, и в министерстве финансов, все почти заграничные фирмы были связаны исключительно с объединениями и не считались с единоличными хозяевами, как бы ни были они богаты...

Однажды Рылин рано утром пришел внезапно к Мирону Фирсовичу.

— Я к вам с огорчением, дядюшка.

— Ну, чего еще сработала твоя голова?

— Иван Никанорович при смерти.

— Градов?

— Он, дядюшка. Только что получил телеграмму.

Градов, один из богатейших шуйских фабрикантов, был старинным приятелем Ярамовского. Однако в последние годы они встречались редко и, как видно, были чем-то недовольны друг другом.

— Просит вас, дяденька, посетить его.

— А мне почему не отписал?

— Да он, дяденька, уже в агонии. Что с него взять! Поедем? Карета готова.

Мирон Фирсович перекрестился на образ и решительно отправился одеваться.

К обеду Ярамовский и Рылин подъезжали к особняку шуйского фабриканта.

— Мы в контору, дяденька.

— Это зачем?

— Сейчас увидите, дяденька.

Кабинет Градова был полон народа. Сам Иван Никанорович забился в дальний угол и, уставившись куда-то в пространство взглядом помешанного, без конца то высоко поднимал плечи, то низко их опускал.

Увидев судебного пристава с молоточком в руке, Ярамовский все понял.

— Как же ты смел?! — гневно схватил он за руку Рылина. — Зачем соврал?!

— Что вы, дяденька? — приятно улыбнулся Николай Николаевич. — Я сказал чистейшую правду. Разве продажа с молотка всего имущества Градова не равносильна его кончине?

Торг затянулся до позднего вечера. Почти все станки и машины были куплены людьми, которых,

по приказу Николая Николаевича, разыскал и подставил Мельников...

Несмотря на ночь, Ярамовский не пожелал оставаться в Шуе и уехал с племянником домой.

А наутро он вызвал к себе Рылина.

— Видно, уж по-твоему будет! — без обиняков объявил фабрикант. — Записывай меня в пайщики!

Николай Николаевич уехал от Ярамовского счастливейшим человеком в мире, — самый сильный конкурент его был побежден. А о других заботиться нечего. Все, кого он наметил, едва узнают, что сдался Мирон Фирсович, сами придут на поклон. Дело сделано. Кончено.

И вот, так долго жданный день наступил. Устав «Товарищества добровольской ситценабивной мануфактуры в городе Иваново-Вознесенске», с основным капиталом в один миллион рублей, был утвержден.

Директором-распорядителем Товарищества пайщики единодушно избрали Николая Николаевича, которому Татьяна Ивановна подарила к великопраздничному дню добрую треть всех паев.

— Все? — одуревшая от непривычки к заседаниям, спросила Татьяна Ивановна.

— Все! — чуть склонив голову, поспешили пайщики успокоить Рылина.

— Нет, не все! — торжественно изрек вдруг Николай Николаевич и протянул руку растерявшемуся от неожиданности Мельникову. — Нет, еще не все, господа! Я хочу отметить преданного, честного и прекрасного нашего доверенного, многоуважаемого Василия Петровича.

— Bravo! Bravo! — вяло похлопали в ладоши пайщики и с видимым недоумением переглянулись.

— Дорогой Василий Петрович! — не унимался

Рылин. — Позвольте мне преподнести вам один пай нашего молодого товарищества!

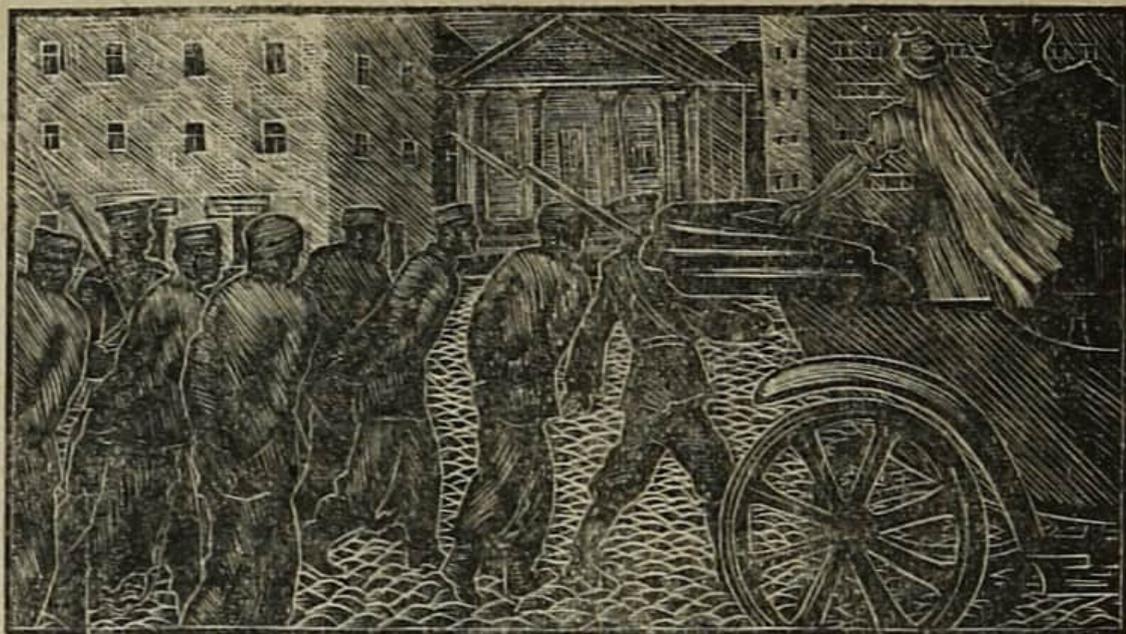
И, потребовав шампанского, воскликнул:

— Пью за пайщика Мельникова! Ура, господа!

Василий Петрович до того был растроган, что даже всплакнул.

— Век не забуду... Как работал, сил не щадя, так... будьте спокойны-с... Живота для дела не пожалею...

— Так выьем же, господа! — повторил Рылин и, преисполненный великой любви к жизни, поочередно прижал к груди всех присутствовавших.



ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Глава I

Мелким фабрикантам совсем не стало житья. Богатые компании делали с ними все, что хотели, и в конце концов в пух и прах разоряли.

Компании по своему усмотрению то вздували цены, то неожиданно их понижали, то продавали ситец в рассрочку на долгие месяцы.

Как было мелкоте удержаться, набраться силы, лететь под гору и не разбиться?

Только и слышно было в Иваново-Вознесенске, что этот лопнул да тот прогорел...

В числе обреченных на разорение был и владелец крохотной текстильной фабрики Афанасий Васильевич Коренков.

Но не таким уродился Афанасий Васильевич, чтобы падать духом и ныть.

«Все от господа бога, — рассуждал он. — Бог не выдаст, свинья не съест».

И когда думал так, всегда в глазах его блуждала лукавинка. «Шалите, мол, — нас голыми руками не заграбастаете».

Коренков был человек осторожный, за большим не гнался, кое-что прирабатывал торговлей и жил себе пока что лишь с одною заботой — продержаться каких-нибудь два-три года, до той поры, когда единственная дочь его Елена станет невестой.

В Елене он видел все свое будущее и потому тянулся, как только мог, чтобы вывести ее в «люди», чтобы она была «не хуже дочерей самых богатых купцов».

Как только девочка окончила городскую школу, Коренков, не задумываясь, отдал ее в гимназию, хотя сам был противником «всяких светских наук».

— Одно баловство от этой учености, — брезгливо морщился он. — Заучится человек, ему тогда ни бога, ни государя, прости, господи, станет вроде не надо. Видали мы этих самых ученых...

Однако в дочь он верил, как в самого себя, и ни на минуту не допускал, что его «семя пойдет по злему пути». Конечно, была бы его воля, не пустил бы он девочку дальше начальной школы. Да уж, видно, такое время пришло, что нужно сдаваться, поступать против совести.

В самом деле, какой фабрикант по нынешним временам возьмет к себе в дом необразованную сноху? Теперь как повелось? Чуть кто побогаче, сейчас же норовит поставить свой дом на «благородную ногу», чтобы и русским-то духом не пахло.

Эх! Кабы у Коренкова да настоящие капиталы,

плюнул бы он на все и не «бусурманил» Елену. Небось, при мошне нашел бы себе подходящего зятя.

Но что «предназначено свыше», пусть то и сбывается. «Обучится Елена в гимназии всяким тонкостям в обхождении, и первейшие женихи станут свататься к ней, к голубке ласковой».

Вот этого только и ждал Коренков: через два-три года Елена пристроится в «хороший дом», и тогда добрая старость будет для него обеспечена.

Очень льстило Афанасию Васильевичу, что к дочери приходили в гости ее подруги по гимназии и два-три реалиста, — все дети богатых родителей.

Чтобы не мешать молодежи, он уходил в мастерские и появлялся дома лишь к ужину.

— Чего же вы притихли? — неизменно спрашивал он, входя в дом. — Не люблю, когда ребятки лбы хмурят.

Елена в таких случаях обычно отшучивалась и заводила с отцом разговор о его делах.

— Какие уж наши дела! — с тяжелым вздохом произнес однажды Афанасий Васильевич. — Что ни день, то все хуже. Вот нынче карелинские рабочие еще вздумали бунтовать. Со всех сторон разорение.

— Что вы говорите? — возбужденно привскочили гости. — Неужели бастуют?

— Да, только что мне сказали. Штрафы, дескать, заели их. Против штрафов восстали.

Коренков нервно затеребил бороду.

— Добро бы еще, — рабочие. А то кто голос стал подавать? Бабы! Чистое столпотворение, прости, царица небесная. Да я бы их всех, стрекулистов тех...

— А почему это женщинам надо молчать? — вспылила вдруг Елена. — Разве им лучше на фабриках, чем рабочим?

— Что ты сказала?! — лязгнул зубами Афанасий Васильевич. — Да ты в своем ли уме?!

— Правильно сказала, — вступился за Елену один из реалистов. — Разве вы сами, Афанасий Васильевич, не знаете, как непереносимо положение работниц на фабриках?

Коренков даже отпрянул от неожиданности. «Дерзостные слова» потрясли его. Вместо того чтобы наброситься на дочь и ее защитника, как хотелось ему, он схватился обеими руками за голову и внезапно для себя выбежал вон из комнаты.

Вскоре простились с хозяйкой и гости.

Поутру, как только Елена отправилась в гимназию, Афанасий Васильевич занялся просмотром дочерней библиотечки, до которой он никогда раньше не прикасался.

— Эка добра натаскала! — заворчал он, опускаясь на корточки перед этажеркой. — Чернышевский какой-то... Добролюбов... Писарев... Глеб Успенский... Некрасов...

Собрав книги в стопку, он уже был готов снести их на кухню, чтобы бросить в печь, но в последнюю минуту раздумал и снова поставил на место...

С той поры отец и дочь стали заметно избегать друг друга.

Друзья Елены продолжали попрежнему свои посещения, но в доме почти не слышно было их голосов, — они запирались в комнатухе хозяйки и там долгими часами о чем-то таинственно перешоптывались или вовсе уходили в ближайший лес.

Коренкову так захотелось узнать, о чем говорят Елена и ее гости, что в конце концов он не выдержал и тайком пробрался за ними к их излюбленному овражку.

— Да, да... Это верно! — услышал старик голос дочери. — За весь их труд им достаются только обиды, черствый хлеб...

— И кабак! — раздраженно прибавил один из реалистов.

У Афанасия Васильевича опустились руки. Он все понял. Сомнений больше не оставалось. Ну, конечно же, сцена, которая произошла за столом во время разговора о карелинских рабочих, была не случайной. Недаром старик так боялся гимназии, — она отняла у него дочь, все его надежды развеяла прахом.

Постояв еще немного, Коренков, уничтоженный, жалкий, поплелся домой...

Утром Елена зашла в комнату отца.

— Я хочу поговорить с тобой, папа.

— Говори.

— Я хочу уехать во Владимир.

— Зачем?

— Кончат восьмой класс.

— Так, так... Ну, что ж!.. Нынче отцы сами по себе, а дети сами по себе жить начали. Им на родителей наплевать. Нынче яйца курицу обучают.

— Не надо, папа, так говорить со мной. Ты ведь знаешь, что я люблю тебя. Отпусти меня, папа.

Не дождавшись ответа, Елена ушла.

А вечером отец сам позвал ее.

— Вот что, дочка... Я тебе не помеха. Делай, как лучше. Только бога не забывай. Пусть он благословит тебя.

Весной девушка вернулась в Иваново-Вознесенск с аттестатом за восемь классов гимназии.

За зиму она так возмужала, что Афанасий Васильевич даже ахнул, увидев ее.

— Словно бы подменили тебя! Эка выросла да подобрела. Не успел оглянуться, а тебе уж и невеститься время пришло. Так, что ли, пташка моя?

— Хоть и так, папа, — рассмеялась Елена. — Сам же говоришь всегда, что всякому овощу свое время.

Старик готов был расцеловать дочь за «мудрые речи», но, заметив, что она тут же сразу и построжала, переменял разговор.

Ночью, запершись в своей комнате, Афанасий Васильевич в благодарной молитве пал на колени перед иконой.

Учтивость дочери, ее слова об «овоще» окрылили его, вернули былые упования. И как прежде когда-то, он снова увидел ее в подвенечном платье, в церкви, рядом с богатым женихом. Кто этот жених, он и сам покуда не знал, хоть кое-кого и держал на примете. Но это обстоятельство мало волновало его. «Пусть даже горбатый дубковский сынок, лишь бы мошна тугая была. А все остальное, любовь там да красота, — дело десятое. Стерпится — слюбится».

Страхи его за дочь, у которой «от учения может ум за разум зайти», показались ему смешными. На душе стало светло и тепло. Внутри все ликovalo и пело.

— Благодарю тебя, боже мой, что не дал се-
мени моему уклониться на путь нечестивых, —

проникновенно молился он, колотясь лбом об пол. — Благодарю тебя, господи, что призрел старость мою, многогрешного раба твоего.

Утром, когда Елена ушла проведать подруг, с которыми не видалась целую зиму, Коренков вызвал к себе сваху.

— Ты, Дормидонтовна, не торопясь... Ты пронохай все, прознай, как и что, — наставлял он старуху, то и дело потчuya ее смородинной собственного настоя. — Товар-то у меня, сама видишь, — первый сорт: что по уму, что по учености, что по тихости, всем взяла дочка моя.

С тех пор так повелось, что Дормидонтовна каждый вечер приходила к Афанасию Васильевичу с предложениями.

Но как ни расхваливала сваха женихов, как ни старалась доказать, что лучшего мужа, чем тот, о ком она говорит, для барышни и желать нельзя, Коренков все оставался недоволен выбором и как бы между слов называл фамилии тех именно фабрикантов, с которыми очень хотел породниться.

Наконец все исполнилось по желанию старика. В один из праздничных дней сваха прикатила к Афанасию Васильевичу с «благою вестью».

— Обстряпала, — торжественно объявила она, едва войдя в горницу. — Как твоя душенька хотела, кормилец, так и сбылось. Самого Карелина сынок нынче у тебя будет вроде бы по торговым делам.

Преисполненный счастья Коренков немедленно отправился в комнату дочери.

— Ты чего пригорюнилась? — нежно провел он рукой по щеке девушки. — Или скучно одной?

Она не ответила, только странно улыбнулась

и принялась машинально перелистывать страницы лежащей на ее коленях книги.

У Коренкова почему-то сразу исчезла вся прыть. Однако так или иначе, а дело надо было довести до конца.

Походив по комнате, он присел к столу и заискивающе взглянул на Елену.

— Так-то, дочка. Ростил, поил тебя, а теперь сама скоро внуков моих выхаживать будешь.

Елена вдруг поднялась.

— Прости меня, папа. Я знаю, что ты огорчишься. И знаю, что ты хочешь сказать. Но я не могу. Это решено, папа. Я хочу уехать учиться в Москву.

— Как?! — содрогнулся старик. — Опять учиться?!

— Да, папа. Учиться.

Старик обезумел. Он ринулся к этажерке, опрокинул ее и с бешеным криком принялся топтать и рвать книги.

— Я тебе покажу, как учиться! Я тебе покажу, как против отца идти! Я тебя так научу, что век с постели не встанешь! Я в цепи тебя закую!

Елена спокойно стояла перед отцом. Ни один мускул не дрогнул на ее лице, когда старик размахнулся, готовый ударить ее.

— Не доводи до греха! Слышишь, Елена? Опомнись, покуда я ума не решил! — прохрипел Коренков и внезапно почувствовал такую страшную слабость во всем теле, что едва не упал.

Она подхватила отца.

— Послушай, папа.

Старик собрал весь остаток сил, вырвался из рук дочери и, шатаясь, направился к порогу...

Так в тот день и не удалось молодому Карелину «нанести визит» Коренковым.

Поутру явилась сваха. Старик вышел к ней в сени и шепотком попросил пока не ходить к нему.

Как только старик отправился на фабричку, Елена, не позавтракав, почти бегом пустилась за советом к одному из бывших реалистов, который раньше бывал частым гостем в ее доме, к Ване Глумовскому.

— Что это на тебе лица нет? — пораженный смертельной бледностью девушки, заволновался Глумовской.

Она рассказала ему обо всем, что произошло накануне.

— Плюнь, — утешил ее Ваня. — Перемелется, мука будет.

Вскоре к Глумовскому пришли его друзья — Сережа Гвоздев и Саша Хлестов.

Узнав о горе Коренковой, они в один голос заявили, что если отец насильно заставит ее выйти замуж, то никто больше с ней не будет знаться, и предложили просто-напросто тайком уехать в Москву.

— А на какие средства там жить? — спросила Елена.

— Вот еще, подумаешь, какая забота! — воскликнул Ванюша. — В крайнем случае мы поддержим тебя.

Обдумав хорошенько, как «взять измором» Афанасия Васильевича, молодые люди приступили к главному.

— Итак, — официально начал Глумовской, — мы собрались сегодня для того, чтобы учредить наконец для иваново-вознесенской интеллигенции кружок ученического самообразования.

Елена понемногу так увлеклась спорами, что вскоре позабыла о всех своих горестях.

Слово за словом разговор о пользе самообразования сам собой углублялся, переходил на более сложные темы.

— Надо задержать, — кипятился Гвоздев, — прекратить ломку капитализмом вековых российских устоев. Мы не Европа! Наш экономический строй самобытен!

— Как самобытен крестьянин с его общиной и артелью, — в свою очередь с глубокой верой выкрикивал Хлестов.

При упоминании о крестьянских общинах сердце Глумовского преисполнилось умиления. Общинное крестьянство было для него высшим идеалом, за который он, не задумываясь, мог бы вступить в борьбу с каким угодно противником.

— Вот в этом, друзья мои, и есть вся истина, — мечтательно закатил Ваня глаза. — В общинном крестьянстве, а не в капитализме, которому не место на нашей русской земле...

Уже вечерело, когда Елена возвращалась от Глумовского домой.

По дороге, почти у самой отцовской фабрички, она увидела какого-то оборвыша.

— Ты почему домой не идешь? — спросила девушка. — Пора уж спать.

— А мой дом далеко, — бойко ответил подросток. — В Большой Ширяхе дом мой.

— Значит, ты сюда работать пришел?

— А то нет?

— Да разве тебе уже исполнилось пятнадцать лет?

— Выходит, исполнилось. Вот сама хоть взгляни.

Он достал из-за пазухи паспорт и протянул его Коренковой.

— «Николай Павлов Ершов. Пятнадцать лет», — прочитала девушка, пожимая плечами. — Странно. А на вид тебе и тринадцати нет.

— Ну, тоже хватила! — обиделся подросток. — О прошлом месяце тринадцать исполнилось. — И вдруг спохватился. — Пятнадцать, то есть. Какая ты, право, — совсем меня спутала.

Они постепенно разговорились.

Коля Ершов только утром пришел в Иваново-Вознесенск на заработки. Целый день он искал своего дальнего родственника, у которого должен был остановиться, но так и не нашел его.

И вот теперь пришлось устраиваться на ночлег под открытым небом.

— А что касаясь моих годов, — таинственным шепотком поделился в конце концов Коля с девушкой, — так это нарочно. Только ты ни-ни... никому. Папанька нашему волостному писарю двугривенный дал, он и вписал вместо тринадцати да пятнадцать, чтоб на фабрику взяли.

Елене до того стало жалко мальчика, что она решила приютить его на ночь у себя, а утром отправиться вместе с ним на поиски его родственников.

Но Афанасий Васильевич, увидев из окна оборвыша, весь позеленел от злости и выскочил на крыльцо.

— Это еще что за новости?!

— Ему ночевать негде. Пусть сегодня у нас побудет.

— Вон! — заревел Коренков. — Вон отсюда, голь перекатная! Еще воров недоставало видеть мне у себя, в честном доме моем!

Коля стрелой полетел со двора. Елена бросилась было за ним, но, когда она добежала до калитки, уже простыл и след мальчика.

Наступило время ужина. Афанасий Васильевич долго сидел за столом, тщетно дожидаясь прихода дочери.

Елена была до того возмущена поступком отца, что решила немедленно покинуть дом. Подсчитав свои сбережения, она убедилась, что их вполне хватит на месяц жизни в Москве, и тут же начала собираться в дорогу.

Просидев за столом больше часа, старик нервно поднялся и тяжело зашагал в комнату дочери.

— Открой! — произнес он упавшим голосом, дергая запертую дверь. — Открой же... Чать, не зверь я.

Елене вдруг стало жалко отца. Она отперла дверь и как-то растерянно остановилась перед чемоданчиком. На выпуклый ее лоб сиротливо упала шелковистая прядка волос. В лице не было ни кровинки. Глаза потемнели от подступивших непрошенных слез. Чуть вздрагивали худые полудетские плечики.

Отец искоса поглядел на нее и почувствовал, как болезненно сжалось его сердце.

— Едешь? — еле вымолвил он и низко свесил седую голову.

— Еду, папа.

— Что ж, — зашевелил помертвевшими губами старик, — видно, от судьбы не уйдешь. Выходит, судьба одному оставаться на старости лет.

Елена шагнула к отцу и вдруг прильнула головой к его груди.

— Я тебя никогда не забуду. Я буду приез-

жать на каникулы. А когда кончу курсы, вернусь к тебе навсегда.

Афанасий Васильевич молча перекрестил дочь и развинченной походкой поплелся из комнаты.

На другой день Елена, дав отцу клятву писать ему каждую неделю, уехала в Москву на курсы.

Глава III

Переночевав за углом дома Коренковых, Коля Ершов чуть свет отправился искать работы.

Вскоре его внимание привлек рокочущий гул голосов. Свернув из переулка на одну из улиц, он увидел перед собой большую толпу.

— Чего они тут? — спросил Ершов у какого-то хмурого бородача.

— Известно, чего... Не в гости же к Дубкову. Наниматься пришли.

— Ну да, наниматься! Нешто взойдет на фабрику уймаща такая народу?

Но, увидев по выражению лица соседа, что тот не думает шутить, мальчик как-то сразу потерял уверенность в себе.

Из ворот вышел заведующий наймом.

— Выходи, которые печатники! — крикнул он. — Да по одному стройтесь! Что стадом сбились?

Отобрав десятка два печатников, заведующий записал их фамилии и по одному пропустил в фабричные ворота.

Толпа с нескрываемой завистью поглядела вслед «счастливым», но тут же снова насторожилась.

— Которые заварщики — выходи!

Два с лишним часа производился набор рабочих. Заведующий подробно допытывался у каждо-

го, откуда пришел он, почему остался без дела, участвовал ли в стачках, обучен ли грамоте.

— Ты уж не ври, — предупреждал он, подмигивая в пространство. — Я вашего брата на три аршина сквозь землю вижу. Меня не обманешь.

Коля понуро стоял рядом с бородачом, в полной уверенности, что до него никогда, хоть век здесь пробудь, очередь не дойдет.

— На сушильные барабаны которые! — разда-лось вдруг почти над самым его ухом.

Он вздрогнул и поднял голову. Перед ним стоял заведующий.

— Новенький?

— Новенький, — ответил за Ершова бородач.

Проверив паспорта у обоих, заведующий задал им несколько вопросов и, подумав немного, указал рукою на вход.

Еще у самого порога сушильного цеха Колю обдало горячим, пропитанным ядовитыми испарениями, паром. У барабанов, в одних штанишках, стояли потные, с багровыми лицами, подростки...

Ершов полдня ничего не делал, только, по приказу старшего, присматривался к работе.

Наконец к нему подошел старший и, небожно уцепив за ухо, спросил:

— Ну как?

— Да не так, чтобы очень... парко только немного.

— А ты приучайся. Ты рот не разевай, когда дышишь. Сквозь зубы воздух тяни. Оно легче будет.

С каждым мгновением жар становился все нестерпимее. Голова Ершова горела, точно разламывалась на части.

После обеда мастер подвел Колю к группе подростков и, показав, что нужно делать, принялся внимательно следить за работой ученика.

Едва держась на ногах и то и дело припадая потрескавшимися от жары губами к кружке с водой, Ершов зорко следил за входящим в барабаны и выползающим из них миткалем. Заметив складку, он торопливо, как это делали другие подручные, расправлял ее пальцами и снова хватался за кружку.

Работа спорилась. За весь день Коля получил от мастера всего две-три затрешины, да и то не за провинность, а так, порядка ради, «чтобы страх имел перед старшими».

— А из тебя, видать, будет толк, — похвалил мастер Ершова перед концом работы. — Так и дальше старайся.—И, приложив палец к губам, с улыбкой прибавил вполголоса: — Только насчет годов ни-ни. Я ведь знаю, что писарь тебе прибавил пару годочков.

У выхода Колю поджидал бородач. Как только мальчик показался на пороге, он сейчас же увел его в фабричные казармы.

С того дня бородач взял Ершова под свое покровительство и заботился о нем, как о родном сыне.

Вечерами, похлебав из общего котла неизменных щей, прозванных «купоросными», старый рабочий усаживался на койке и при свете коптилки принимался читать вслух «жития святых» или рассказывал мальчику о схимниках и других «праведных старцах», которых ему привелось видеть на своем веку в монастырях.

Коля внимательно слушал и изредка глубоко вздыхал.

— Вот бы где пожить нам с тобой, дядя Терентий... Там и пруды, и пчелы, и лес.

Терентий был человеком религиозным, вина не пил, не курил и в праздники не пропускал ни одной церковной службы.

Постепенно пристрастился к церкви и его любимец Коля.

Однажды, когда они возвращались от всеобщей, к ним подошел сосед по койке, семнадцатилетний Алеша Доронин.

— Молитвенничкам наше с кисточкою! — улыбнулся он. — Сколько нынче грехов замолили?

Терентий нахмурился и ничего не ответил.

Алеша сам вдруг глубоко вздохнул.

— Я не в обиду. Иной раз, когда мочи не станет от житья нашего, сам готов хоть напиться до крайности, хоть убить кого, а хоть в монастырь с вами уйти.

Они долго бродили по улицам, пока не очутились за городом, у рощи.

Темнело. Дул сухой ветер. В воздухе кружились столбики пыли и увядшей листвы.

— А правда, — спросил вдруг Коля, — если в вихорь бросить нож, кровь потечет?

— Правда, — убежденно ответил Терентий. — Потому, в нем нечистый кружит. Только кровь ту видеть не дано человеку.

Доронин недоверчиво ухмыльнулся.

— А я вот слышал от умных людей, будто и во все нету нечистых.

Бородач так и ахнул.

— Да уж не из тех ли ты, которые людей мутят и против бога бунтуют? — И, ухватив за руку Колю, поспешно ушел от Алеши.

Потянулись однообразные и долгие, как унылые степные дороги, рабочие дни. Коля просыпался, когда было еще темно, вместе с Терентием бил поклоны перед образом троеручицы, потом жевал размоченный в воде сухарь и, неумытый, растрепанный, спешил к пяти часам в цех.

В полдень, измученный работой и сорокаградусной жарой, он насильно глотал простывшие щи и выходил на двор с тем, чтобы сейчас же поваляться наземь и хоть немного передохнуть.

Но не успевал он забыться по-настоящему, как уже гудок снова призывал на работу.

И так изо дня в день, из месяца в месяц, — с пяти утра до восьми часов вечера.

В праздники, возвращаясь из церкви, Терентий и Коля останавливались, иногда среди улицы и смотрели, как молодежь играет в городки, карты, в орлянку.

— Поиграл бы и ты в городки, — предлагал иногда Терентий. — В городки отчего ж... Вот в карты — грех, а в городки, оно можно.

Коля с радостью примыкал к игрокам, а Терентий разваливался где-нибудь вблизи у забора и тотчас же принимался сладко дремать вплоть до вечернего благовеста.

Потом шли проведать родственника Ершова, а оттуда снова в церковь и — домой.

Да! Совсем не такой оказалась городская жизнь, как расписывал ее в деревне старик Ершов. Правда, и в деревне Коле приходилось работать от зари до позднего вечера, и там не редкость были окрики и подзатыльники, но зато все вокруг было родное, свое. О, как бы хотелось мальчику еще хоть разок побывать в ночном, посидеть у костра, послушать чудесные сказки о проделках старого

лешего, который вот уже сколько сотен лет живет в осиновой балке, в самой чащобе господского леса!

И разве могут сравниться пусть мясные, но постылые щи с той замечательной картошкой, которую запекал он в золе догорающего костра!

Коля беспокойно ворочался на койке, безнадежно вздыхал, терзался воспоминаниями о так рано отнятом у него детстве.

— Спи, — шептал Терентий, догадываясь, какие мысли одолевают его юного друга. — Бог даст, и мы свой покой обретем в монастыре.

— Уйдем отсюда, дядя Терентий. Невмоготу мне, — все чаще повторял подросток. — Уведи меня в тот монастырь, который у моря.

Думки о Новом Афоне, про который так часто и увлекательно рассказывал бородач, с каждым днем все более властно одолевали Колю. В конце концов вышло так, что уже не Терентий, а Ершов сам подбивал возможно скорей собраться в далекий путь.

Всю осень и зиму они отказывали себе во всем, чтобы прикопить как можно больше денег в дорогу.

После пасхи Коля неожиданно явился к своему родственнику.

— Проститься пришел, — объявил он. — В монастырь иду.

Родственник ничего не сказал, но, как только проводил Колю за порог, немедленно отправил старшую дочь свою в Большую Ширяху, к Колиному отцу.

Вскоре после пасхи Терентий и Ершов взяли расчет и отправились пешком по направлению к Шуе.

Но дальше Кохмы уйти не пришлось. На станции Коля неожиданно увидел отца.

— Ты куда? — набросился на сына старик.

— В святые места с дядей Терентием. В монастырь.

— Так это вот кто тебя с пути совращает?! — крикнул старик и, не помня себя, ударил Терентия в грудь кулаком. — А ты, щенок, позабыл, что дома есть нечего? Что мать твоя три года с печи не слезает? Да я тебя, сукин сын, за побег в порошок изотру!

К ним подбежал жандарм. Узнав, в чем дело, он дружелюбно похлопал бородача по плечу.

— Дело хорошее... Однако, раз родитель не хочет, поезжай уж один...

Ершов увез сына домой.

Через два дня мальчик уже снова работал на прежнем месте.

Глава IV

По приезде в Москву Елена прямо с вокзала с чемоданчиком отправилась на квартиру представительницы народовольческого кружка.

Ее довольно холодно встретила хозяйка квартиры, светловолосая девушка, как оказалось потом, слушательница высших педагогических курсов, Вера Потылицына.

Прочитав письмо Глумовского, Потылицына строго оглядела гостью и с большой осторожностью принялась расспрашивать ее об Иваново-Вознесенске и общих знакомых.

Не прошло и часа, как Вера убедилась, что перед ней сидит свой человек.

— Оставайтесь пока у меня, — запросто предло-

жила хозяйка. — Ничего, ничего. Там видно будет, где вас устроить.

Вскоре Елену приняли в члены кружка.

Но не успела она хорошенько разобраться в новой обстановке и по-настоящему наладить связь с ивановцами, как произошло несчастье.

В одну из ночей, не ждано, не гадано, к Потылицыной нагрянули жандармы. Они перерыли весь дом и, обнаружив несколько запрещенных книжек, арестовали обеих девушек.

На допросах Елена держалась так, как будто была крайне поражена «происшедшим недоразумением».

— Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите? — глядя в упор на жандармского ротмистра, пожимала она плечами. — Я приехала сюда учиться, а меня за это посадили в тюрьму. Я буду жаловаться.

Через два с лишним месяца заключенную отправили этапом на родину, в Иваново-Вознесенск.

Боже мой, что творилось в Иваново-Вознесенске в тот памятный день! Обывательское болото бурлило и рокотало. Купчихи сбились с ног, бегая из дома в дом, чтобы успеть прежде других рассказать о «невероятном событии».

— Подумать страшно! — только и слышно было в домах фабрикантов. — Родного отца не пожалела, на всю жизнь опозорила!

— Что теперь будет с бедняжкой Коренковым?

— А фанаберии сколько у этой девчонки! Ее ведут жандармы, а она, вы думаете, глаз от людей отводит? Ничего подобного! Держится так, будто не ее ведут, а она ведет арестованных!

Коренкову доставили к полицмейстеру и, там

отобрав подписку о невыезде, до суда отпустили домой.

Старик встретил дочь ни жив, ни мертв.

— Елена! — был он лишь в состоянии произнести, с ужасом взглянув на страшно осунувшуюся дочь. — Ты ли это, Елена?

Девушка поцеловала отца, как-то криво, словно бы виновато улыбнулась и понуро отправилась в свою комнату.

Узнав о приезде Коренковой, ученический кружок самообразования не на шутку встревожился. Решено было немедленно встретиться с неожиданной гостьей и договориться о том, как быть дальше.

Но Афанасий Васильевич, чуть завидя Хлестова, до того рассвирепел, что бросился на него с кулаками.

Юноша едва успел унести ноги и наотрез отказался от мысли искать свидания с Еленой в доме ее отца.

До суда, чтобы ни на кого не навлечь подозрения, Елена не выходила из дому, все больше сидела у себя в комнате, за книгами.

Наконец наступил день суда.

Афанасий Васильевич, за всю ночь не сомкнувший глаз, на рассвете робко постучался к дочери.

Она тотчас же впустила его.

— Как же быть? — безнадежно спросил он. — Неужто же и впрямь посадят в острог?

— Все может случиться, — спокойно ответила девушка. — Ты не бойся за меня, папа.

Коренков почувствовал, как в нем внезапно вспыхнуло что-то похожее на раздражение.

— А может, мне не беспокоиться и о том, что от стыда теперь глаз на улицу не покажешь?

— Что ж делать, папа... Только мне кажется.

что тут нет никакого стыда. Я ведь не воровка. Я честный человек, папа.

— А ежели честный, — кайся! Прощения проси на суде! Авось, не тебя пожалеют, мою старость призрят.

Елена сверху вниз посмотрела на отца.

— Каяться в том, что я не могу равнодушно видеть, как вокруг меня страдают люди? Опомнись, папа.

— Замолчи! — крикнул Коренков и заткнул пальцами уши. — И не смей в моем доме говорить такие слова.

Девушка торопливо оделась и, не простившись с отцом, ушла со двора.

С того утра Афанасий Васильевич не виделся с дочерью ровно шесть месяцев, — срок, на который Елена была приговорена к тюремному заключению.

Вернувшись в Иваново-Вознесенск под негласный надзор полиции, Коренкова попыталась было зайти к Глумовскому, но по дороге заметила, что за ней неотступно ходит какой-то человек. «Шпик», — догадалась она и сейчас же свернула в противоположную сторону.

Так повторилось на другой день, на третий. Сыщики следили за каждым шагом девушки и знали решительно все, что она делала за день.

Вечное наблюдение раздражало поднадзорную, но в то же время приучало к осторожности, скрытности.

Она почти не встречалась с бывшими друзьями, не заводила новых знакомств, жила замкнуто и появлялась в городе лишь в тех немногих домах, где давала детям уроки.

— На кой ляд тебе эти уроки? — попенял однажды старик. — Или боишься, что не прокор-

мишься у меня? Где это видано, чтобы фабрикант-овы дочки на заработки ходили?

— Каждый человек должен сам себе зарабатывать хлеб, — ответила Елена. — Я не хочу жить за счет твоих рабочих. И не нужно спорить, папа. Нам все равно не понять друг друга.

Коренков не знал, что делать. Он растерялся. Спокойный и вместе с тем уверенный, не допускающий возражений тон дочери обескуражил его. С болезненной остротой он почувствовал вдруг, что навсегда утратил власть над этим в упор глядящим на него чуждым, почти враждебным человеком.

Неловко потоптавшись на месте, Коренков боком сунулся к двери, у порога задержался не надолго, пытаясь что-то сказать, но только махнул рукой и исчез.

Вечером он не вышел к ужину, — через силу похлебал на кухне щей и сейчас же ушел к себе. Утром Елена также не дождалась отца за столом.

С тех пор они почти перестали встречаться.

Проходили недели, месяцы, и необычайность положения Коренковой, как все на свете, утратила свою первоначальную остроту, перестала волновать обывателей, до того времени никогда не слыжавших о том, что существуют на свете какие-то поднадзорные.

Приутихла в своем рвении и полиция. «Живет, и пусть живет, — рассудил полицмейстер. — А если покажет змеиное свое жало, мы живо вырвем его».

И пока что оставил в покое девушку, приказав прекратить за ней слежку.

Заметив, что надзор ослаб, Елена решила возобновить старые связи.

Набравшись смелости, она как-то вечером при-

шла к Глумовскому и просидела у него до поздней ночи.

От начадившей лампы больно резало глаза, становилось трудно дышать. Глумовской поднялся и слабым толчком ноги приоткрыл ведущую в сени дверь.

Комната сразу наполнилась белыми клубами пара.

— Хорошо! — вздохнул полною грудью юноша и так поглядел на стоявшую у окна девушку, как будто впервые увидел ее. — Вот тебе на! Мы так замечтались с тобой, что про сон-то и позабыли. Пора, Елена, домой. Спать, спать...

— Да ведь ты же не спишь?

Глумовской хотел возразить, но только мягко улыбнулся и зашагал из угла в угол.

— Брр! — неожиданно вздрогнул он и, закрыв дверь, снова уселся. — Откроешь — холодно; закроешь — чадно. И так и эдак худо... Точь-в-точь — российская жизнь.

И примолк.

Коренкова прильнула лбом к оконному переплету. «И в самом деле, точно на погосте живем, — подумалось ей. — Правду говорит Ваня».

Тишина. Ни огонька, ни голоса человеческого. Ничем не огороженные завьюженные избенки, точно курганы-могильники. Тяжела и неподвижна ночная предвесенняя муть. Не по-живому виснут, раздражающе медленно падают потерявшие свои обычные формы снежинки.

— Так-то, Елена, — обращаясь, в сущности, к самому себе, вымолвил едва слышно Глумовской. — Вот мы с тобой говорили об освобождении крестьян от крепостного права. А что осталось от девятнадцатого февраля? Ничего, кроме трезвона и болтов-

ни... Тяжко. Так тяжело, что руки бы на себя наложил...

Елена резко повернулась к Глумовскому. Лицо ее вытянулось, заострилось. Оно показалось юноше состарившимся, чужим.

— А оттого, что ты наложишь на себя руки, людям жить станет легче? Хныканьем хочешь помочь? Вздохами?

— Ну, а что можно сделать? И почему ты сердишься на меня?

— И вовсе не на тебя, Ваня. На себя сержусь... На всех нас... Какие-то мы все тряпки. Безвольные. Вместо того, чтобы что-то предпринять, мы только произносим жалостные противные слова да вздыхаем... Хорошая помощь народу! Надо, по-моему, не хныкать, а быть вместе с народом, жить его жизнью, знать его...

Юноша порицающе закачал головой.

— Подумаешь, какую открыла Америку, — быть вместе с народом! А я говорю, что прежде, чем завести связи с народом, надо самим нам учиться, учиться и учиться... И главное, бежать отсюда — в Москву, в Петербург, вон из этой трупщобы... Здесь мы никогда не обучимся ничему...

— Ты так думаешь?

— Уверен.

— Ну, и беги отсюда. А я буду учиться здесь, у рабочих.

— Елена!

— Ах, лучше оставим... В самом деле, пора домой... До свиданья...

С каждой новой встречей с Глумовским Коренкова все больше подмечала в себе какую-то тревожную неудовлетворенность, что-то похожее на тоску.

— Чего это вы мерихлюндите? — спросил как-то встретившийся с Еленой у Вани Гвоздев.

— И сама не знаю, что со мною творится, — вздохнула девушка. — Вот мы тут горячимся, спорим, что-то доказываем друг другу. А зачем это все? Для кого хлопочем? Кто слушает нас?

— Как кто? — вмешался Глумовской. — Слушая друг друга, мы учимся, созреваем для борьбы.

— А в это время там, за стеной, на фабриках, — болезненно поморщилась девушка, — рабочие продолжают трубить по тринадцать часов и изнывать от работы... Нет, тут что-то не то.

Гвоздев и Глумовской многозначительно переглянулись.

— Мы хотим бедным людям добра, — вздохнул Гвоздев и, будто испугавшись чего-то, вобрал голову в плечи. — Разве одного этого недостаточно?

«Сейчас толстовские морали пойдут», — с раздражением подумала Коренкова и с несвойственной ей резкостью стукнула кулаком по колену.

— Подумайте только. Вокруг нас идет бой. Вокруг нас рабочие, которые ждут помощи, а не наших жалостливых вздохов, не доходящих до них. Мы должны знать рабочих, познакомиться с ними и тогда уже сообща думать, как быть! Что же вы молчите? Ответьте мне! Вот и Плеханов...

При упоминании этого имени оба сразу зашумели, заспорили, принялись что-то друг другу доказывать, утверждать, но так и не ответили Коренковой на прямо поставленный ею вопрос.

Сухо простившись с товарищами, Елена поздним вечером отправилась домой. Она старалась как-нибудь развлечься, думать о чем-нибудь постороннем, чтобы хоть немного передохнуть от измучивших ее за последнее время сомнений и внутренних

противоречий. Но ей это не удавалось. «Кто же прав? — настойчиво шевелилось в мозгу. — Мы или Плеханов? И как можем мы утверждать, что в России нет почвы для капитализма, когда... когда здесь, у нас, на наших глазах капитализм с каждым годом расцветает все больше и больше».

Дома Елена неторопливо разделась, достала под половицей запрещенную книгу Плеханова «Наши разногласия» и принялась за чтение.

Однако на этот раз что-то не читалось. Перелистав несколько страниц, она захлопнула книгу и, уложив ее на прежнее место, попыталась заснуть.

Но как ни старалась Елена, а сон не приходил. Тщетно проворочавшись с боку на бок до самого рассвета, она внезапно вскочила, наскоро оделась и ушла из дому.

Уже было утро, когда бесцельно бродившая по городу девушка очутилась подле Приказного моста.

Под мостом, в кузницах, начиналась обычная жизнь. Там и здесь слышалась хозяйская ругань, больно отзывался в душе чей-то пронзительный детский крик.

— Я научу тебя ко времени просыпаться! — отчетливо донесся со стороны ближней кузницы разгневанный голос. — Я из тебя сон живо выколочу, лежебока!

Елена узнала лающий бас кузнеца Башкирова и решительно зашагала на крик.

— А-а, барышня жалует! — увидев гостью, приятно улыбнулся Башкиров и еще крепче зажал в кулаке чуб корчившегося от боли мальчика.

— За что вы его мучаете? Как вам не стыдно!

Кузнец на мгновение смутился, но тут же пришел в себя.

— А вам какая забота? Ишь ты, заступница

выискалась! Должно быть, мало в остроге продержали, не научили.

И закатился вызывающе-наглым смешком.

Боренкова вздрогнула, хотела что-то ответить, но раздумала и ушла.

Башкиров плюнул в ее сторону, отшвырнул от себя мальчика и направился к мастерской.

Было около шести утра. Из кузниц валом валил дым. На улицу то и дело вырывались золотистые снопы искр, слышалось тяжелое дыхание мехов и назойливо ухали молоты о раскаленный чугун.

Избитый Башкировым мальчик подкатывал к наковальне чугунную чурку. Лица его не было видно — от постоянного пребывания в кузнице оно насквозь прокоптелось. Под прилипшей к бокам рубашонкой отчетливо обозначились ребра.

— Что, Митька? Или не одолеть? — подмигнул молотобоец и, легко подхватив чурку, перебросил ее на место. — Ишь, упред как!

Мальчик благодарно взглянул на молотобойца.

— Я стараюсь, дядя Гриша, а она хоть бы что — не дается.

— Ладно уж! Не дается! Становись-ка у меха. Авось, тут дастся тебе.

И молотобоец легко, с задорной удалью, заколотил по раскаленному пруту.

Подручный с восхищением принялся следить за работою старшего.

Глава V

Каждый день, ровно в четыре утра, Башкиров будил ребятшек и гнал их в мастерскую, где они работали до девяти часов вечера.

Никто никогда не слышал от хозяина доброго слова. Вечно хмельной, он внезапно врывался в

кузницу и ни с того, ни с сего принимался избивать детей.

Больше же всех доставалось пятнадцатилетнему слабому Мите.

— Женить пора дурака, — хрипел кузнец, — а в нем все весу с кутенка! Ну какой из тебя может настоящий получиться кузнец! Зря только хлеб жрешь!

Самая тяжелая работа неизменно доставалась Мите. И горе, если он был не в силах справиться с ней!

Много раз подручный пытался бежать от хозяина. Но бежать было некуда: из-за тяжбы с графом Шереметевым ни дед, ни отец его после «освобождения» крестьян не получили никакого надела, и с деревней было покончено; на руках у отца — фабричного рабочего и матери — прачки были трое малолетних детей; на фабриках, — Митя отлично знал это от товарищей, — его ждала такая же точно доля, как у Башкирова.

«Куда ни подайся, — безнадежно размышлял он, — всюду, как папанька говорит, хрен редьки не слаще».

И вот беспросветная эта жизнь озарилась вдруг дружбою с молотобойцем Гришей.

Молотобоец появился в кузнице всего с месяц тому назад. Это был рослый парень лет двадцати с небольшим, крепкогрудый, широкоплечий, подвижной и веселый. Серые большие глаза его всегда светились какой-то бесшабашной улыбкой. Из-под сбитого набекрень картуза залихватски падал на лоб курчавый каштановый чуб.

С тяжелым молотом Гриша обращался, как фокусник с «волшебною палочкой». Он легко взмахивал им над головой, потом описывал в воздухе мол-

ниеносные круги и с разудалым уханьем бил по раскаленному чугуну, не отклоняясь ни на паутинку от того места, по которому нужно было ударить.

Глядя на него, невольно подтягивались и подручные. Бок о бок с Гришей как-то незаметнее шло время, работа казалась интересной и легкой.

Не прошло и недели, как Гриша стал общим любимцем подручных.

Поздними вечерами, когда кончался рабочий день, Гриша собирал вокруг себя подростков и принимался рассказывать им всякие чудесные повести.

Говорил он о Разине, о Пугачеве, о драконе, который питается кровью бедных людей, о народившемся чудо-богатыре, собирающем могучую рать против дракона, о каких-то таинственных землях, где нет ни богатых, ни нищих, где люди работают не на хозяев, а на самих себя и правят сами собой.

Митя упивался рассказами молотобойца и засыпал с блаженнейшей улыбкою на изможденном лице. Снились ему далекие чудесные страны, плывущие по Волге струги, Степан Разин, окруженный товарищами, Яик, походы казацкие, вольные песни... Видел он и себя самого рядом с богатырем, победителем злого дракона. «Дай мне, я добыю! — кричал во сне Митя и вырывал из рук богатыря молот. — Дай мне, дядя Гриша!»

И молот падал на страшную голову, дробил ее в пыль. Но тут же выростала новая голова и раскрывалась, как бездна, черная пасть, готовая проглотить и Митю и богатыря.

— Бей! Бей его, дядя Гриша! — ревел иступленно подросток, с ужасом признавая в драконе Башкирова.

Как-то раз Гриша принес с собою из города букварь.

— Учиться будем, — объявил он подручным. — Кто хочет учиться?

На книжку набросились все подростки.

Но Башкиров, прознав о таком «озорстве», избил учеников, букварь бросил в огонь, а Грише наказал «ребят отнюдь впредь не портить».

Митя затосковал.

— Ты погляди, дядя Гриша! Я уже вот что выучил, — пожаловался он молотобойцу, — а тут вдруг и кончено все.

Он вывел пальцем на песке три буквы своего имени:

МИТ

Гриша пытливо поглядел на подручного.

— Значит, хочешь учиться?

— Ой, хочу!

— Ну и ладно. Я тебя в воскресенье к одной барышне поведу. Ты не бойся, — она хоть и барышня, а простая. Вот и будешь учиться по праздникам.

Митя еле дождался воскресенья. Проснувшись на рассвете, он достал из укладки новенькие брюки из чертовой кожи, ситцевую, в красных горошках, рубаху, еще довольно крепкие сапоги и к пробуждению Гриши был уже, что называется, при полном параде.

Молотобоец с деланным изумлением обошел вокруг своего молодого друга и внезапно комически всплеснул руками.

— Ну, сущий тебе херувим по одежде, а по физиомордии — истинный дьявол! Да ты когда-нибудь умывался, Митяй?

— Не помню, — смущенно ответил Митя, но,

увидев, какую уморительную гримасу состроил молотобоец, неожиданно покотился со смеху.

— Ну, и скидывай одежонку! — уже строго произнес молотобоец и, порывшись в своей укладке, достал завернутое в полотенце мыло. — Шпарь со мною к колодцу!

Плеснув на лицо пригоршнею воды, подросток фыркнул, размазал грязь и потянулся было за полотенцем, но молотобоец погрозил ему пальцем и, не рассуждая, раздел его догола.

Митя только кряхтел под могучими руками друга. А Гриша, засучив рукава, с таким вдохновением мылил и растирал тело подростка, как будто имел дело не с живым существом, а обтесывал и строгал колоду.

— Теперь так, — довольно произнес он, разминая спину. — Теперь можно и в гости.

Чистенький, похорошевший, Митя быстро оделся и отправился с Гришей к закадычному его другу, рабочему коренковской фабрички, Евтихию Викову.

— Привел? — крепко пожимая Гришину руку, заулыбался Евтихий. — Ты и есть тот самый Митяйка Туров? Ну, что ж. Здорово, значит, браток!

Не привыкший к человеческому обращению подросток покраснел до ушей и пробормотал что-то невразумительное.

Вскоре явилась и еще гостья.

Митя поглядел на скромно одетую девушку и начал что-то припоминать.

— Ба! — первая воскликнула гостья. — Да это тот самый мальчик, которого тогда при мне Башкиров таскал за чуб.

— Он самый, Елена Афанасьевна, — ответил Гриша за окончательно сконфузившегося подручного. — Учиться хочет. Уж вы уважьте мальцу.

Коренкова погладила Митю по голове и усадила рядом с собой.

— Ты совсем неграмотный? — спросила она.

— Нет, я умею писать, — не задумываясь, ответил Митя. — Вот поглядите, диво какое... — Он послунывил указательный палец, откинул край скатерти и бойко вывел на столе:

МИТ

— А дальше?

— А дальше хозяин пожег.

Елена не сдержалась от умиленной улыбки.

— Ничего... И дальше все будешь знать. Только старайся и слушайся меня.

За окном слышались чьи-то голоса, и сейчас же кто-то постучал в дверь.

В комнату вошли Коля Ершов и печатник Алеша Доронин.

Хозяин познакомил их с Митей.

— Вашего полку прибыло, — сказал он. — Еще ученика бог послал. Только он вам не пара, — неграмотный.

Митя хотел возразить, но раздумал и скромненько опустил голову.

Начались занятия.

— Слушайте внимательно задачу, — строго произнесла Коренкова. — 19 февраля 1861 года крестьян освободили от крепостной зависимости. Тотчас же вслед за этим дворяне занялись «разделом» крестьянских земель. Вместо установленного законом мерила в четыре с половиной десятины на ревизскую душу бывшие удельные крестьяне Ивановской округи получили четыре и две десятых, а владельческие — три и восемь десятых десятины... Записали? Ну, так. Прочтите, Алеша, что там у вас записано.

Алеша бойко прочел условие.

— Теперь дальше, — продолжала Елена Афанасьевна. — Не подумайте, что помещики, незаконно урезав меру, на этом и успокоились. Ничего подобного. Как во время крепостного права, так и после 19 февраля, вся власть находилась исключительно в руках дворян-помещиков... А первым дворянином-помещиком кто является, Коля?

— Государь, — вполголоса ответил Ершов.

— Правильно, Коля.

— Но пойдём дальше. Вам не скучно? Вы слушаете?

— Задача, что надо, Елена Афанасьевна. Страсть, до чего интересно.

— Так вот, друзья мои, помещикам показалось мало того, что они украли крестьянскую землю. Они еще, пользуясь беззащитностью крестьян, выделили бывшим своим крепостным самую худшую землю...

— Вон оно что! — крикнул вдруг Митя и сжал кулаки. — То-то у наших земля — одни овраги да кочки!

— Да и наша не лучше! — сквозь зубы процедил Коля. — Как есть, выходит, вчистую ограбили... сволочи!

Елена многозначительно переглянулась с Викковым и, переждав немного, довольная собой, продолжала:

— Но это еще не все. Не забыли помещики и про межи. Они так провели их, что границы помещичьих земель оказались у самых крестьянских дворов. И что же получилось? А получилось так, что хлебоборбу стало невозможно выпустить за ограду последнюю овцу без того, чтобы не подвергнуться штрафу за потраву... Понятно?

— Как не понять! — передернул плечами Доронин. — Небось, про нас разговор. С нашими родителями, небось, так поступили помещики. Понимаем, Елена Афанасьевна, еще как понимаем.

— А если понимаете, — продолжала Коренкова, — то подумайте и скажите, во-первых, сколько убытков потерпели крестьяне ваших деревень (в Колиной деревне пятьдесят хозяйств, а в Алешиной — сорок семь) от такого грабительского раздела; во-вторых, мог ли принести хоть какую-нибудь пользу крестьянам манифест от 19 февраля, и, в-третьих, не правильнее ли сказать, что этот манифест освободил крестьян не от крепостной зависимости, а освободил их от... земли?

— Последний ответ я сразу скажу, — нахмурился Ершов. — Ясно, освободили нас не от крепости, а от земли. Потому с голоду мрут мужики. Все, поди, на фабрики тянутся... На деревне что ни день, то все хуже...

— Только, ежели по правде, — вставил Доронин, — так — что в деревне, что в городе — хрен редьки не слаще. Никуда не денешься от них, окаянных. В деревне помещик штрафует да озорничает, а на фабрике то ж на то при мастерах оборачивается. Спасу нет от тех мастеров.

И он начал подробно рассказывать о мастере, который изводит его цех непосильными штрафами.

Постепенно в разговор ввязался и Евтихий.

Все наперебой заговорили о том, что у каждого так накипело в груди.

То же самое повторилось и на уроке русского языка, географии, чистописания.

— А теперь, друзья, — улыбнулась Коренкова, — мы, по установившемуся обычаю, все сегодня написанное сожжем и побеседуем по закону божьему.

Когда брошенные в печь листки сгорели, Елена Афанасьевна медленно прошлась по комнате и приступила к делу.

— В прошлый раз, — начала она, — мы, кажется, остановились на римском празднестве солнцестояния.

— На этом на самом, — подтвердил Ершов. — На огнепоклонниках.

— Так вот, — кивнула Коренкова, — праздник зимнего солнцестояния происходил у древних римлян 25 декабря... Какой у нас праздник в этот день?

— Рождество! — выпалил до того сидевший молча в сторонке Митя.

— Правильно, Туров. Рождество господина Иисуса Христа. А у древнего народа, у римлян, был свой бог солнца, которого звали Митра...

— Это не наших ли митрополитов родич? — с лукавой улыбкой спросил Виков.

— Что-то от этого, — прищурилась Елена. — Но не перебивайте, Евтихий. Был, значит, у язычников-римлян бог солнца Митра. И вот, лет, примерно, около двух тысяч тому назад римляне установили в день 25 декабря праздник, который называли «Рождеством непобедимого солнца».

— Эвона какво! — удивился Ершов. — Как же так? Чье же рождество истинное рождество? Митры этого самого или господина нашего Иисуса Христа?

— Тебе лучше знать, — рассмеялся Доронин. — Ты в монахи собирался идти, а не мы...

Странные вещи пришлось услышать Мите в тот день. Многого он не понимал, многого, очевидно, сознательно, для осторожности, не договаривала Елена, но и то малое, что было доступно сознанию подростка, перевернуло вверх дном его душу.

— А теперь твоя очередь, — обратилась наконец Елена к Турову. — Садись, Митя, ближе к столу.

Митя весь обратился в слух.

Глава VI

Большая дружба завелась у Мити Турова с Колей Ершовым. В праздники, едва отслушав обедню, они стремглав бежали к Викову и там проводили время до самых сумерек.

Вскоре праздничные дни им показались слишком короткими для того, чтобы успеть ответить Коренковой заданный урок, выслушать новый, почитать вслух какую-нибудь книгу, вроде Антона Горемыки или Хроники села Смурина, послушать интересные беседы взрослых о Петербурге, Москве, о людях, которых царь морит в казематах, да и самим нет-нет, а вставить какое-нибудь замечание или осмелиться даже принять участие в споре...

Где уж тут хватит воскресного дня! Не успеешь оглянуться, а за окном уже вечер.

И вышло так, что Митя и Коля все реже заглядывали в церковь, а через год-два она им и вовсе стала не по пути.

Митя с чувством величайшей гордости любовался Ершовым, когда тому удавалось переспорить Викова или Гришу.

— А ты что молчишь? — набрасывался вдруг разгоряченный спором Ершов на Турова. — Ты чего в спор не встречаешь?

Однажды Ершов решительно объявил товарищу:

— Вот чего, Митя. Не люблю я твоей тихости. Все оттого это, что народу вокруг тебя мало. Один

Гриша и больше нет никого. Ступай-ка ты к нам на фабрику. У нас скоро, брат, осмелеешь.

Митя подумал и неуверенно процедил:

— А как же я без Гриши буду?

— Да мы тебе, баричу, няньку найдем! И не стыдно? Как да как! Да так просто. А с Гришей по праздникам у Евтихия будешь встречаться.

Вернувшись домой, Туров тотчас же передал молотобойцу свой разговор с Колей.

— Вот это дело! — одобрил Гриша. — Чего тут, в самом деле, околачиваться? Тебе прямехонькая дорога на фабрику. — И сообразив, чем вызвана нерешительность Мити, ободряюще хлопнул его по плечу. — Я и сам туда норовлю.

Через неделю стараниями Викова Митя был принят в печатный цех дубковской фабрики и поселился в казармах по соседству с Колей Ершовым и Алешей Дорониным.

Коля оказался прав. Несмотря на то, что на фабрике приходилось работать не меньше, чем у Башкирова, что старшие ни в чем не давали спуска, по всякому поводу ругались, награждали подзатыльниками и штрафовали, Туров все же чувствовал себя среди общей массы рабочих своим человеком, как будто находился в родной семье.

Фабричный гул, большие цехи, обилие машин, огромные кипы товара поднимали Митю в собственных его глазах, возбуждали в душе чувство невольной гордости за то, что во всем этом могучем фабричном мире он составляет пусть малую, но все же часть чего-то общего, играет какую-то нужную роль.

Вначале он сторонился людей, побаивался толпы и старался держаться подле Ершова и Доронина.

Но проходили месяцы, и Туров незаметно для

себя начинал вникать в жизнь окружающих, волноваться их волнениями, проникался общими интересами рабочей массы.

На уроках он и его товарищи стали более требовательными и уже не удовлетворялись половинчатыми, осторожными разъяснениями Коренковой, а требовали точных ответов на все мучившие их вопросы.

Однажды Елена Афанасьевна принесла с собой на урок томик Некрасова.

— Сейчас мы будем писать с вами диктант, — сказала она и, перелистав книжку, нашла нужное стихотворение. — Пишите: «Железная дорога».

— Железная — два «н» или одно? — спросил Туров.

— Конечно, одно. Я же не раз объясняла, что если в основе слова нет в конце буквы «н», то и образовавшееся от него имя прилагательное пишется через одно «н».

— За исключением слов — деревянный, оловянный, стеклянный, — с какой-то вызывающей усмешкой досказал Ершов и вдруг стукнул изо всех сил кулаком по столу.

— Что это с тобой? — вздрогнула Коренкова.

— А ничего. Мне просто подумалось, что хоть через три «н» научимся писать всякие там деревянные и другие слова, а не одолеть нам этой наукой горькой участи нашей. Тут нужна другая наука, про то, как повести борьбу с лютой неправдой, да как не сбиться с истинного пути, да как победить пауков, про которых мне привелось в одной тайной книжице вычитать!

Доронин почувствовал в душе что-то похожее на жалость к растерявшейся учительнице и поспешил замять разговор.

— Да не мешай, Коля... Диктовка, значит, диктовка... И все тут... Диктуйте, Елена Афанасьевна... Пишем, значит, ребята! — И первый старательно вывел заглавие стихотворения.

Диктант начался.

Согнувшись над тетрадами, ученики усердно выводили:

...Добрый папаша! К чему в обаянии
Умного Ваню держать?
Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.
Труд этот, Ваня, был страшно громаден —
Не по плечу одному!
В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод — названье ему!..

С каждой новой строфой лица учеников все больше мрачнели, в глазах загорались недобрые огоньки.

...Он-то согнал сюда массы народные... —

раздельно произнесла Коренкова, —

Многие — в страшной борьбе,
К жизни воззвав эти дебри бесплодные,
Гроб обрели здесь себе...

— Дураки! — процедил сквозь зубы Ершов. — Как есть дураки!

— Я не понимаю! — уже с оттенком раздражения возразила Елена Афанасьевна. — Что же, потвоему, железные дороги не нужны?

— Эх, куда хватили! Нужны. Еще б не нужны! Мы это все понимаем. Да еще и то понимаем, что «гроб обрели здесь себе» не инженеры, подрядчики да десятники, а нашего звания люди, просто сказать, мужики. Выходит, для кого железная дорога

строилась? Для купцов, для фабрикантов, для... уж извините за правду... для папаши вашего, так и далее... А для нашего брата выходит гроб... Какая же это дорога!

— Так ты бы хотел?..

— Ничего бы я не хотел! — вспыхнул Ершов. — Я хотел бы только, чтобы, чьим потом чугушка строилась, тот и владел ей по всей истинной правде...

— Но какое это имеет отношение к нашему уроку? Если идти дальше по твоей логике, рабочим не нужны ни грамматика, ни другие общеобразовательные предметы. Так, что ли, по-твоему?

— А вот и не так, Елена Афанасьевна! Чего нам тут притворяться друг перед другом? Грамота вещь необходимая. Только я так понимаю, что грамотно писать мы сами научимся. Хоть оно и трудно, а научимся. Будет время такое. А вы нам дайте, — слышал я про книгу такую, — «Наши разногласия» или про немецких социалистов... А это все пустое, чем вы нас кормите. Артели там всякие, общинное хозяйство, просвещение... Какое-то там самобытное экономическое развитие России... Ерунда... Ежели вы с нами, с рабочими, так и ведите нас по рабочей дороге, давайте нам книги о рабочем движении...

— Что правда, то правда, — поддержал Колю Доронин. — Видим мы развитие это! Одолели нынче деревню кулаки. Они-то развиваются, тут спору нет, богатеи эти самые сельские, а остальные прочие крестьяне для них, вроде как мухи для пауков...

Елена Афанасьевна не отвечала, она с глубокой скорбью чувствовала, что ей нечего ответить. Повторилось то, что произошло не так давно на квартире у Глумовского. Только роль ее переменилась:

там она была обвинителем, здесь, перед лицом трех молодых рабочих, — обвиняемой.

И самое важное, что ее придавило, унизило в собственных глазах, было сознание неоспоримой правоты учеников, поставивших без обиняков единственный неотвратимый вопрос: «Ежели вы с нами, с рабочими, так и ведите нас по рабочей дороге, давайте нам книги о рабочем движении».

А по какой дороге она поведет, чему может кого-нибудь научить, когда и сама толком не знает, чего добивается!

Но так ли это? В самом ли деле не знает, что делает, или притворяется лишь сама перед собой? Кто ближе ее сердцу — Глумовские, Гвоздевы, Хлестовы и другие «друзья народа», люди одного с нею класса, сынки фабрикантов и купцов, или Виковы, Доронины, Ершовы, Туровы, от дедов бесправные и нищие люди?..

Она решительно вдруг поднялась.

— Ну, мне пора.

— А урок?

— Как-нибудь в другой раз. Нездоровится что-то...

— Да уж не обидели ль мы чем вас, Елена Афанасьевна? — всполошился Туров. — Так мы ведь не с умыслом...

— Чего уж там! — вставил Ершов. — Сами знаете, как мы вас уважаем... Оставайтесь, пожалуйста... Диктант хоть допишем...

Девушка подумала немного и сдалась на просьбы. Вскоре вновь заскрипели перья:

Мы надрывались под зноем, под холодом, —

диктовала учительница, —

С вечно согнутой спиной,
Жили в землянках, боролись с голодом,
Мерзли и мокли, болели цынгой.
Грабили нас грамотей-десятники,
Секло начальство, давила нужда...
Все претерпели мы, божи ратники,
Мирные дети труда!

— Да! — не выдержал снова Ершов. — Умственный человек — сочинитель. Золотые его слова... — И словно бы в ответ на недавние мысли Коренковой неожиданно для себя выпалил: — Вам, Елена Афанасьевна, не понять. Потому вы настоящего нашего горя не нюхали. А нам стихи эти — в самое сердце...

Все замолчали. Елена Афанасьевна потупилась. — Только вы не серчайте, — вполголоса промолвил Коля. — Я это к тому сказал, что вспомнил рассказ один... От деда слышал. Мой, значит, дед про вашего деда рассказывал. Хотите, могу рассказать.

— Отчего же... Рассказывай.

— Ну, так, — начал Ершов. — Давно это было. Лет, может, с полсотни тому назад. И вот, значит, жили в то время в Иванове два кабальных. Один — Митрий Петров, другой — Лапин Игнат. Митрий — у Гранова, Игнат — у Кураева. Только я не про Игната хочу, а про Митрия. Лапин хоть тоже смекалистый был человек, а свихнулся с пути, — хозяйскую линию гнул. Думал сам в хозяева выйти. Ну, хозяин из него не получился, а все же в мастера старшие выскочил. Что же касемо Петрова, так тот бить хвостом не умел, никаких чертей — ни хозяев, ни начальства — не признавал, жил по совести, за рабочих грудью стоял. А захотеть бы ему, — дед говорил, — Гранов первым бы мастером поставил его у себя. Он и краски разные, получше

соковских, из Шлиссельбурга, с фабрики Леймана, вывезенных, составлял, и машины английские на свой лад переделывал, и узоры к ситцам такие придумывал, что заграничные купцы диву давались. Только в старшие мастера ему никак дорога не выходила. Какой уж тут мастер, который, почитай, что ни день бунт затевает. Чуть зря обидят кого, а Петров тут как тут. И прямо с кулаками на старших. Горячий был человек, справедливый. Не терпело сердце, когда штрафом людей через меру обкладывали, либо били их ни за что, ни про что. Особенно детей жалел Митрий. За детей готов был горло перегрызть мастерам. Иной раз до того распалится, что все светелки поднимет на бунт. Ну, конечно, хозяевам такое дело никак не с руки. Вот и принялись учить Митрия. Избивали нещадно, по месяцу голодом в черной морили, улещивать пробовали. Куда там! Никакими силами сломить не могли.

Коля передохнул, вытер тылом ладони губы, посмотрел учительнице прямо в глаза и продолжал:

— Больше всех невзлюбил Петрова за непочтительность управитель грановской фабрики, ваш дедушка, значит, Василий Коренков. Поломка ли где, недовольство ли, спор ли с мастером насчет штрафов, — был там, не был Петров, — все равно Петров виноват. За всех отвечал. Дескать, по его выучке действуют. Всех, мол, духом бунтарским своим заразил. И как только ни измывался Коренков над Митрием! В погребе по неделям держал связанным, на хлебе да на воде. Ночью, в мороз, бросал в бочку с ледяною водою и молитвы над ним читал, чтобы дьявол оставил его. А однажды, как раз после такого «крещения» в студеной воде, надо же было случиться беде — коренковскому дому погореть.

«Митькино это дело! — порешил Коренков. — Он это, проваленный, петуха пустил красного!» И что ж бы вы думали? До того облютел, что, не помня себя, до смерти запорол безвинного человека! Следствие учинили, рабочие забунтовали, чуть фабрику всю не разнесли. Суда требовали над убийцей.

— Ну, и?.. — стиснув зубы, прошипел Доронин, сгорая от нетерпенья узнать, к чему присудили деда Елены Афанасьевны.

— Ну, и все тут. Был суд. Все честь по чести. И признали, что-де Коренков тут ни ухом, ни рылом, а убили-де Митрия два закадычных его товарища, которые, как и он, спуску мастерам не давали. Так Коренков под присягой показывал: «Сам, дескать, видел». Так все и кончилось. Тех двоих погнали в Сибирь, а Коренков жил в почести, капитал да фабричку к тому ж вашему отцу, Елена Афанасьевна, оставил и вот нас с вами, выходит, свел... Вон оно как диковинно получается.

Он помолчал и, приподнявшись, в упор спросил:

— Так с нами вы, Елена Афанасьевна, или с теми, кто думает, что наше спасение в том, будем ли мы «деревянный» писать через одно «н» или через два?

На одно мгновение в мозгу девушки загорелась яркая мысль: «Что, если раз навсегда порвать не только с кружком Глумовского, а и с родным домом? Зачеркнуть все прошлое и начать новую жизнь? Быть наследницей Митрия Петрова, а не Коренкова?»

Но ей тут же стало страшно этой мысли. Она не представляла себе, как бы могла существовать, если бы земля, фабрики, все орудия производства перешли вдруг в руки народа. Для нее это было

равносильно катастрофе, гибели культуры и цивилизации.

Нет, ее сфера — «друзья народа», мирные «просветители», добренькие «папаши» «униженных и оскорбленных».

— Так как, Елена Афанасьевна?

Девушка вздрогнула и больно сдвинула руками виски.

— Я... не знаю... Я подумаю, Коля...

И, наспех простившись с учениками, ушла.

Было уже довольно поздно. Кое-где на перекрестках, еще больше подчеркивая мглу, подслеповато мигали и дымились уличные фонари. Где-то выли и сонно лаяли псы. Из ближнего кабака, словно отдаленный прибой, доносился время от времени неясный гул голосов.

В церкви Покрова пробило десять.

Елена Афанасьевна, ежась от осенней сырости, ускорила шаг.

Проходя мимо особняка фабриканта Карелина, она услышала звуки рояля. Кто-то играл Шопена.

Девушка невольно остановилась и прислушалась. Ее охватила тихая, умильная грусть.

«Ах, если бы так жилось всем людям на свете!.. — подумалось ей. — И помещикам и крестьянам... И хозяевам и рабочим...»

Внезапно распахнулась парадная дверь. Из нее вышел какой-то человек.

«Шура Карелин!» — вздрогнула Елена Афанасьевна и почти бегом пустилась к своему дому.

Коренков обычно укладывался спать рано (не к чему зря жечь керосин), и потому Елена Афанасьевна очень удивилась, застав его сидевшим в глубокой задумчивости у окна.

— Добрый вечер, папа!

Старик тяжело разогнул спину и прищурился на дочку.

— Для кого вечер, а для добрых людей ночь...

— Почему же ты не спишь, если для добрых людей ночь?

— А ты сама у себя спроси. Авось, поймешь...

Она нахмурилась. Ее ноздри раздулись. Простенькая ситцевая кофточка неожиданно плотно обтянула стан, туго очертив девичьи груди.

— Вечные намеки, уколы! Как надоело!

— А ты не ропщи... Скоро одна будешь жить...

— Как одна? Почему?

— Так и одна. Вот продадут с молотка за долги дом и фабрику — и разойдемся. Ты куда захочешь с книгами своими учеными, а я с сумой по миру...

Коренков поднялся и, уронив на грудь голову, направился к двери.

— Папа!

— Да уж лучше не надо. Мы с тобой вроде как в Вавилоне: смешал господь языки наши, и не понимаем, что говорим один другому.

В голосе старика было столько горя, безнадежности и обиды, что у девушки сжалось сердце.

Она подошла к отцу и обняла его за шею.

— Я еще не окончательно все решила. Может быть, обойдется и без Вавилона.

Коренков не смел верить собственным ушам. Чтобы «не спугнуть нечаянную радость», он осторожно высвободился из рук дочери и скрылся в своей комнате.

Елена Афанасьевна промучилась всю долгую ночь. «Как быть? — терзалась она. — Что делать? Где найти выход?»

А как только забывалась в полудремоте, сейчас же почему-то неизменно виделась ей переполнен-

ная расфранченными людьми церковь. На амвоне, перед священником, стояли жених и невеста. Коренкова вглядывалась и преисполнялась счастья.

«Но ведь это же я, — шептали ее горячие губы. — Я и Шура Карелин».

Но вдруг все мрачнело кругом. Лицо Карелина внезапно вытягивалось, обрастало льняным пушком, голубели черные глаза, вместо фрака на женихе появлялась косоворотка, от которой густо пахло краской и фабричными кислотами.

«Что же это такое? — вздрагивала потрясенная девушка. — Боже мой! Но это же не Шура, а Коля Ершов!»

И, уже очнувшись, она долго еще не могла отделаться от «наваждения».

«Да, да! — бесповоротно устанавливала она, когда приходила в себя. — Вот что ждет меня, если я порву со своим кругом и войду в лагерь марксистов, социал-демократов. Как я смогу поднять народ до себя? Ведь это же непростительная утопия, как справедливо говорит Глумовской. А что ждет лично меня? Ведь надо же когда-нибудь выйти замуж! За кого же? За рабочего? Жить среди невежества, в нищете, окруженной оравой голодных ребят?..»

А когда надуманные доводы начинали казаться ей не совсем убедительными, она обращалась к основной лжи, которую стремилась принять как неопровержимую истину. Все внимание отдавалось тогда Афанасию Васильевичу, «долгу дочери перед разорившимся несчастным отцом».

Она внушала себе, что должна, обязана пожертвовать собой ради блага отца, спасти его от нищеты.

И это умиляло Елену Афанасьевну до слез, под-

нимало в собственных глазах, делало почти героинею-великомученицей...

На другой день, чуть свет, Афанасий Васильевич тайком отправился к свахе Дормидонтовне.

В обед, как будто для переговоров о покупке кое-каких фабричных машин, к Коренкову прикатил молодой Карелин.

— Ах, и вы дома! — расшаркался гость перед Еленою Афанасьевной. — Сколько лет, сколько зим!

— Здравствуйте, Александр Сергеевич!

— Ну, вот еще! Какой же я для вас Александр Сергеевич! Зовите, как когда-то давно, просто Шурой. Идет?

— Попытаюсь... Не знаю, как выйдет...

Карелин поговорил со стариком о деле и перешел в комнату девушки.

Там они проболтали до самого вечера.

Александр Сергеевич показался Коренковой очень милым молодым человеком. Он знал и цитировал многих авторов, кое-что смыслил в политической экономии, декламировал наизусть «Сцену у фонтана» из «Бориса Годунова» и «Сожженное письмо» Пушкина...

Но главное, чем очаровал наследник богатого фабриканта девушку, было его заявление, что «он хоть и причисляет себя к легальным марксистам, однако вся его любовь обращена к истинному пупу русской земли — к народникам, призванным умыть и причесать русский народ».

А как он тепло говорил о рабочих! Какую замечательную воскресную школу мечтал открыть, «если, конечно, разрешит господин владимирский губернатор!»

Что же касается казарм для рабочих, то у него уже имеется проект постройки.

— Это будут не казармы, а настоящие будуары! О, вы увидите, как я поведу дело, когда папаша позволит мне наконец заняться фабрикой самостоятельно...

Перед самым расставанием Карелин взял руку стыдливо потупившейся девушки, приложил ее к своей груди, к выдавшейся щитом белоснежной, туго накрахмаленной рубаше и чуть наклонил каштановую, с безукоризненным пробором, голову.

На Коренкову пахнуло тонким, едва уловимым ароматом «иланг-иланга».

— Елена Афанасьевна! — произнес он, в меру грустируя. — Представьте себе человека, который в душе носит музыку, но никогда в жизни не имел настоящего инструмента и вдруг нашел его. Вы представляете себе?

— Допустим.

— Так вот, я нашел девушку, по которой плакала и томилась моя душа. Эта девушка — вы, Елена Афанасьевна!

— Что вы, что вы, Шур... Александр Сергеевич!

— Ради бога, не продолжайте! Умоляю вас, Елена Афан... Леноч... Елена!.. Богиня!

И, чмокнув ее руку, вышел из комнаты.

Афанасий Васильевич, все время не отводивший от стены уха, в порыве великой благодарности пал ниц перед божницей, потом вскочил, как будто схваченный гигантскою птицей, и вылетел в сени.

— До свиданья, Александр Сергеевич!.. Осторожнее, не споткнитесь... Лена! Тащи лампу скорей.

— Не беспокойтесь, Афанасий Васильевич. Всего хорошего. До скорого, надеюсь, свидания!

— Всего вам лучшего! Будьте здоровы, гость дорогой!

Проводив Карелина, Коренков, — где только

прыть взялась, — забегал по комнате, но оступись и упал грудью на стол.

Елена Афанасьевна выглянула в дверь и сейчас же отошла от порога.

Ей стало вдруг не по себе. В душу закрадывалось странное чувство, похожее на стыд.

«Что же я делаю? Почему так все происходит?» — подумала она и, прикусив верхнюю губу, беспокойно зашагала по комнате.

— Нет! — вслух произнесла она наконец. — Так сразу нельзя. Надо подумать. Надо хорошенько подумать, прежде чем решиться на такой важный шаг.

Но в постели, когда стало всему телу тепло и уютно, и мысли пришли тихие, убаюкивающие.

Разве, выйдя замуж за Карелина, она изменит своим идеалам? Наоборот, она «еще больше будет отдавать всю себя на служение народу». «Добрые чувства», заложенные в Александре Сергеевиче, она разовьет в великий пламень. Они вдвоем понесут в семьи рабочих просвещение, гуманизм, благосостояние... Все будет прекрасно...

Нет, нет, Елена Афанасьевна никогда не покинет «ожидающий ее помощи бедный русский народ!»

Глава VII

Елена как-то объявила ученикам, которых не оставляла пока, что скоро познакомит их с приехавшим из Петербурга студентом Клябиным.

Клябин был сын зажиточного крестьянина. Все юные годы он провел в Иваново-Вознесенске, где учился в реальном училище. И хоть жил он в местечке Ямы, среди самой беспросветной нищеты, однако никогда не задумывался над теми

вопросами, которые всегда так мучительно тревожили Коренкову и некоторых членов ученического кружка самообразования. Он не знал даже, что такой кружок существует, а Глумовской и не думал привлечь на свою сторону реалиста, усердно посещающего церковь и увесившего стены своей комнаты портретами царя, генералов и архиереев.

Но едва юноша попал в Петербург, как все его прежние взгляды на жизнь развеялись прахом. В марксистском студенческом кружке Бруснева, куда ввел его один из приятелей, он вскоре стал другим, неузнаваемым человеком.

Товарищ не ошибся в Клябине. Всею душой, всеми помыслами своими отдался он кружковой работе.

Деятельность его в Петербурге продолжалась однако недолго. Весной 1891 года он принял участие в демонстрации на похоронах писателя Шелгунова и был выслан за это в Иваново-Вознесенск под надзор полиции.

— Наша семья растет, слава богу, — пошутила Коренкова, когда к ней вскоре по приезде зашел Федор Петрович Клябин. — Иваново начинает обрастать поднадзорными.

В тот же вечер Елена увела Клябина к Глумовскому. За чаем студент рассказывал о петербургских новостях, о кружках и, увлекаясь понемногу, принялся разбивать народовольцев с их пресловутой теорией самобытного экономического развития России.

Поднялся спор. Глумовской с пеной у рта громил Маркса.

Клябин только снисходительно улыбался и время от времени ввертывал какую-нибудь злую, уничтожающую доводы хозяина реплику.

— Ах, так, — говорил он, — значит, разложение деревни — не голая истина, а фантазия? Интересно... А наши деревни где находятся? Вот эти, что вокруг нас? За границею?

— Прошу не перебивать! — резко возражал Глумовской. — Может быть, и так, только пути нашего крестьянства самобытны! Слышите вы, — са-мо-быт-ны! Ты, Елена, почему не поддерживаешь меня? Почему ты так равнодушна к нашему спору?

— Нельзя же всем кричать. Сегодня я хочу быть вашею слушательницею.

И продолжала упорно молчать.

Едва Клябин поднялся, чтобы уйти, хозяин в свою очередь встал из-за стола и сухо простился с гостем...

С тех пор Федор Петрович больше не заходил к Глумовскому, а свободные вечера проводил у Викова, где часто заставлял Елену.

Однажды Евтихий пришел домой чем-то очень встревоженный.

— Вот оно, правительство наше, со своим законом об ограничении штрафов! — зло прошептал он, едва явился к нему Клябин. — Все оно тут, с потрохами.

— Что случилось? — забеспокоился студент.

— Ничего не случилось... Как драли с нас семь шкур до закона, так и продолжают с нас драть.

И достав из кармана брюк бумагу, швырнул ее на стол.

— Почитайте-ка, увидите, какой они фортель выкинули.

Поднадзорный склонился над листком.

— «Табель взысканий», — негромко прочитал

он, — налагаемых на мастеровых и рабочих в фабрике Дубкова».

— Вот, вот! — замахал руками Виков. — Это самое! Табель взысканий. Нашли-таки подходящее словечко, будь они трижды прокляты. Читайте, читайте дальше.

— «За поздний приход на работу, — нахмуясь, продолжал читать Клябин, — и ранний уход с нее, за время до одного часу — 20 копеек, за поздний приход на работу и ранний уход с нее более часу — 50 копеек. За прогул, сделанный без разрешения фабричного управления, взыскивается день за день и, кроме того, за прогульные дни платы рабочему не полагается...»

— За прогульные! — с жестокою болью выдохнул Виков. — А знаете ли, что они называют прогулом? Человек с постели не может встать, человек тяжело заболел, а они называют это прогулом!

Кто-то трижды, с расстановкой, постучался в окно.

Евтихий отпер дверь.

На пороге, красный от волнения, появился Ершов. За ним вошел Митя.

— Слыхали? — крикнул было Коля, но, увидев на столе табель взысканий, сразу притих. — Значит, знаете уже про новую хозяйскую милость?

Федор Петрович наспех поздоровался с неразлучными друзьями и продолжал:

— «...За несоблюдение фабричных правил — штраф 1 рубль. За приход в спальные помещения в неуказанное время родных и знакомых — 50 копеек. За приход на работу в нетрезвом виде — 50 копеек».

— А вот это правильно! — отрубил Туров. — За пьяные дела я бы и сам штрафовал.

— Ишь ты шустрый нашелся какой! — неодобрительно покачал головой Евтихий. — А ежели человек с горя малость хлебнул?

— Ну и пускай отвечает! А мы с Колей по-прежнему понимаем. Чем горе вином заливать, пора, как вы нас обучали, подготовиться как следует и кончать напрочь работу да требовать, чтоб табель новую написали, не разорительную.

Виков так и расцвел.

— А ведь правильно рассудили ребята. Я ведь про пьянство так только сказал. Хотел узнать, что вы ответите.

— Опять перебиваете меня, — посетовал студент. — Дайте дочитать. На чем я остановился? Да, вот, нашел:

«...За нарушение тишины при работе шумом, криком, бранью, ссорю — 20 копеек...»

— Это все про нас, — пояснил Туров. — Это нам нельзя, а мастерам позволено нас изводить, как им захочется.

— Не мешайте же мне! — отмахнулся Клябин. — «...За непослушание отданного приказания по фабричному производству — 30 копеек. Если налагаемые на рабочих взыскания за прогул и за нарушение порядка в общей сложности превысят треть заработка, действительно причитающегося к установленному сроку расплаты, то фабричное управление в праве расторгнуть с таким рабочим договор найма...»

— Вот вам и ограничили штрафы! — с омерзением сплюнул Виков. — Вот вам и закон в нашу пользу!

Федор Петрович тряхнул головой.

— Ну, товарищи! Вы что думаете? А? Как по-вашему, что нужно делать? И после этого в кружке Глумовского смеют бессовестно утверждать, наперекор очевидности, что в России нет почвы для капитализма?! А наш Иваново-Вознесенск? А Никольская мануфактура Тимофея Морозова? А сотни новых компаний, товариществ и обществ во всех больших городах, которые во-всю пользуются потогонной системой и за счет рабочих с каждым днем богатеют и наглеют все больше и больше?

Ершов внезапно распалился и крикнул полным голосом:

— В набат надо бить! Караул кричать надо! Учинить всеобщую стачку!

— Да! — стукнул Клябин кулаком по столу. — Надо бороться! В этом вся правда!

И, предложив выпустить листовки для распространения их по фабрикам, тотчас же приступил к письму. Материалом для прокламации он взял не отвлеченные рассуждения народовольцев, а кусок подлинной жизни рабочих.

«Помните, товарищи, — увлеченно заскрипел пером студент, — выпущенное недавно многими фабрикантами объявление, по которому жалованье рабочим, поступившим после первого октября, будет снижено на 50 копеек в месяц против летнего расценка? Вдумайтесь хорошенько, товарищи, в смысл этого объявления, и вы увидите, что фабриканты вольны делать с вами все, что им вздумается. Но так ли это? В самом ли деле нет такой силы, которая могла бы сломить произвол капиталистов? Мы отвечаем во весь голос, с полным сознанием истины наших слов: такая сила есть! Эта сила — мы сами, тесно сплоченная семья рабочих людей...»

Виков, Коля и Митя с затаенным дыханием прослушали написанную часть.

— Все понятней понятного, — в один голос произнесли они. — В самую точку. Теперь про табель давайте.

Всю ночь друзья разбирали написанное, спорили, многое зачеркивали, снова вставляли, пока наконец окончили составление прокламации.

Оставалось лишь показать «Обращение к рабочим» кружку Глумовского, где хранился гектограф.

— Господь с вами! — всплеснул руками Глумовской, пробегая близорукими глазами содержание листовки. — Не дам никакого гектографа. Вы, Федор Петрович, толкаете людей на кровопролитие.

Елена Афанасьевна, познакомившись с содержанием листовки, содрогнулась от негодования.

— Что он делает, этот Клябин? Он ведь возвращает рабочих! В какие дебри заводит он их, несчастных!

Два дня шел жестокий спор между Клябиным и сторонниками Глумовского.

Наконец они сдались.

— Хорошо, — тоном оскорбленного в лучших своих чувствах человека объявил Глумовской. — Мы постановили дать вам гектограф, но только под личную вашу ответственность. Мы ничего не знаем и никакого участия в распространении этой прокламации не принимаем. Понятно?

— Мне давно все стало понятно, — презрительно поморщился студент и, ни с кем не простившись, ушел.

Клябин жил на отдельной квартире, состоявшей из довольно просторной комнаты с русской печью и крохотного коридорчика. Днем он занимался уроками, а вечера посвящал исключительно беседам со своими друзьями-рабочими.

— Коля и Митя работали на фабрике с пяти утра до восьми вечера. Но это несколько не мешало им ровно в девять приходиться к Клябину.

— Вы бы переселились ко мне, — предложил как-то студент друзьям. — Так удобнее будет, чем тратить столько времени на дорогу сюда и обратно.

Ершов и Туров переглянулись.

Студент понял их.

— Да я не даром, не беспокойтесь. Платите по полтиннику в месяц и чувствуйте себя здесь полными хозяевами.

Юноши на другой же день распростились с казармой и переехали к Клябину.

Постепенно круг знакомств Федора Петровича все более расширялся.

Особенно шумно бывало у него по субботам и воскресеньям. Гости декламировали Некрасова, пели любимые песни — «У парадного подъезда», «Утес Стеньки Разина», «Дубинушку», читали Глеба Успенского, Златовратского, Щедрина.

Иногда, как ни странно это казалось, к студенту заходили Глумовской, Хлестов, Гвоздев и другие.

И каждый раз, едва они появлялись, между ними и Клябиным обязательно возникали споры о «судьбах России».

Федор Петрович все чаяния возлагал на рабочее

движение, а Глумовской и его друзья, наперекор разуму, отстаивали крестьянские общины и «всю великую пользу культурно-просветительной работы среди рабочих и крестьян».

— Только всего и есть, что шум в ушах, — после ухода народовольцев неизменно жаловались жильцы студента на кружковцев. — Тарахтят, тарахтят, а чего добиваются — и сами не знают. Да ежели бы не ихний гектограф, мы бы и разговаривать с ними не стали.

— А чего гектограф? — заметил как-то один из новых друзей Клябина, ткач Саша Губов. — Неужели мы сами свой не сварганим?

Все ухватились за эту мысль.

Федор Петрович объяснил товарищам, как нужно сварить гектограф и печатать на нем.

Это был первый опыт устройства упрощенной типографии. Но опыт, к сожалению, не удался, — в Иваново-Вознесенске не оказалось чернил для гектографа.

Пришлось снова просить помощи у Глумовского. А нужда в типографии с каждым днем становилась все ощутимей. Время, когда рабочие, увидя прокламацию, спешили поскорей уйти от греха, давно уже минуло. Листовка внедрялась в фабричную жизнь, становилась постепенно насущной потребностью...

— Нет, тут действует организация, — все чаще повторял полицмейстер. — Тут не так просто, как кажется.

Раньше всего полицмейстер отдал приказ учинить строгую слежку за Клябиным, Колей Ершовым и Митей Туровым.

Федор Петрович вскоре заметил, что по его следам неотступно ходит какой-то подозрительный

человек и сейчас же через Ершова и Турова запретил знакомым ходить к нему.

Но о том, чтобы бросить работу, только что еще начавшуюся, студент, конечно, и мысли не допускал.

— Ну, чего нос на квинту повесили? — ободрял он жильцов. — Разве у нас мало места будет в лесу? Пусть только пригреет солнышко хорошенько.

— А покуда как быть? — хмурился Туров.

— А покуда в трактире будем сходиться. Ну, в крайнем случае, найдем какую-нибудь квартиренку.

Так они и поступили. В воскресные дни друзья начали встречаться в трактире. На столе появлялись бутылки, закуска и чай. Друзья говорили о разных пустяках, рассказывали анекдоты, шутили, смеялись и между прочим, в туманных выражениях, намечали план будущих действий...

Только Елена Афанасьевна, которой неудобно было ходить по трактирам, в первое время оказалась как бы не у дел.

Но скучать ей не приходилось, — все вечера у нее просиживал Александр Сергеевич.

Сын фабриканта много говорил о Париже, где прожил два года, читал вслух «Один в поле не воин» Шпильгагена, «Борьбу за право» Францоza, «Эмму» Швейцера и, как только мог, стремился «отвадить» девушку, которую любил, от «опасных» знакомств с «подозрительными» людьми.

Он знал, что Коренкова со всей искренностью хочет «служить народу», и потому действовал осторожно, так, чтобы не задеть ее убеждений и чувствований.

И надо отдать ему справедливость, — с задачей своей он справлялся не плохо.

Подметив, что Елена Афанасьевна находится на распутье, что она, в сущности, и от народников отстала и к кружку Клябина не пристала, Карелин по всякому поводу расхваливал и тех и других, но с таким расчетом, чтобы в конце концов перевести разговор на «правоту учения легальных марксистов», сторонником которых он притворялся.

— Нет, нет, Леночка! — вдохновился он в одну из бесед. — Народники правы тысячу раз, считая основной силой революции крестьянство, которое через общину может привести Россию к социализму.

— Но ведь и я примерно так думаю, Шура.

— И совершенно верно думаете, милая Леночка! Единственная же ошибка народников состоит в том, что они отрицают развитие капитализма в нашей стране. Надеюсь, вы не будете отрицать, что это не так?

— Вот по этому самому, Шура, я и ссорюсь последнее время с Ванею Глумовским.

— Я другого и не ожидал. При вашем прекрасном политическом развитии и быть не может иначе. Капитализм у нас есть. И он развивается. И слава Юпитеру, что развивается. А раз так, то как будто не следует отрицать роли пролетариата в революции.

Елена Афанасьевна сдвинула брови и, привычно заломив пальцы, принялась быстро ходить из угла в угол.

— Вот видите ли, Шура: то, что вы сказали, как раз доказывает и Клябин.

— Опять-таки правильно, Леночка! Беда лишь в том, что народники слишком отвлекаются в одну

сторону, а Клябин слишком перегибает в другую.

— В чем именно перегибает?

— Вот прошу вас, Леночка, вникните сами: можно ли без улыбки утверждать, что пролетарская революция и диктатура пролетариата неизбежны? Не кажется ли вам такое утверждение утопичным?

— Трудно сразу ответить... Но мне кажется, Шура, что раз у нас есть капитализм и пролетариат, то и...

— Бесподобно! — перебил ее Карелин, преисполненный восхищения. — Вы — сама истина! Но вся запятая в том, что капитализм-то наш отечественный пока еще куцый. Он только еще развивается. А раз так, то само собой ясно, что рабочему классу вести борьбу политическую преждевременно. Да, Леночка, пре-жде-вре-мен-но! Нам нужно отдавать все силы на развитие капитализма, идти на выручку к капитализму западноевропейскому, а не заниматься иллюзиями, не толкать рабочих на ложный путь политической борьбы, которая ни к чему хорошему привести Россию не может!

— Значит пролетарская революция — иллюзия?

— Что вы, Леночка! Вы не так формулируете. Я хотел сказать, что чем больше будет развиваться капитализм, тем многочисленней будет пролетариат. И, кто знает, что произойдет через пару-другую столетий! Что, с точки зрения политической, триста — четыреста лет? Миг, терция, ноль! И кто может гарантировать, что тогда не настанет время для пролетарской революции и социализма?

Елена Афанасьевна присела к столу и спрятала в руки раскрасневшееся лицо.

— Может быть, Шура, вы и правы... По-моему,

даже правы. Я так долго обо всем этом думала... Мне так тяжело...

Он уселся рядышком и осторожно привлек к себе девушку. Она не сопротивлялась.

— Леночка!.. Счастье мое!.. — прошептал Александр Сергеевич. — Я сам истомился в противоречиях.

И неожиданно опустился на колени.

— Только не отвергайте моей мольбы. Я не могу жить без вас. Мы созданы друг для друга. Наша фабрика будет самой передовой... Наши рабочие будут молиться на нас!

Прятавшийся в соседней комнате Коренков метнулся в кухню, к старой прислуге, вынянчившей его дочь.

— Готовь образ, Даниловна! Вместе благословлять будем сейчас!

— Да что ты, Васильич?

— Ей-богу! Вот тебе святой крест...

Елена Афанасьевна мягко прикоснулась рукой к щеке Карелина и, пригнувшись, заглянула в его глаза.

— Так вместе жить и работать для блага народа?

— Да, Леночка! Клянусь посвятить всю свою жизнь вам... тебе... и моим рабочим...

Он встал и клятвенно поднял руку.

Елена Афанасьевна на мгновение заколебалась, но сейчас же решительно шагнула к двери.

— Папа!

— Здесь я, пташка моя! Здесь, горличка моя ненаглядная!

— Мне Александр Сергеевич сделал только что предложение. Ты как, папа, думаешь?

— Да я уже давным-давно все обдумал! Согла-

сен! Позволь облобызать тебя, нареченный зятек дорогой!..

На пороге, сияющая, разинув рот до ушей, с образом в руках, появилась Даниловна...

глава IX

Настоящая работа в кружке Клябина закипела, как только наступила весна. В праздники все друзья студента поодиночке приходили в лес и там, выставив дозор, где-нибудь в самом глухом месте приступали к занятиям.

Федор Петрович, как мог, разбирал книги, касающиеся профессионального движения в Англии, теорию Фурье, Сен-Симона, Прудона, читал рабочим «Что делать» Чернышевского, «Новь» Тургенева, передовые романы.

Кое-кто из рабочей молодежи, под влиянием Глумовского, пытался отстаивать пользу артелей и потребительских обществ, но Клябин легко разбивал спорщиков и, указывая на развитие социал-демократического движения в Германии, призывал всех избрать только эту дорогу.

— Вот вы критикуете стремление к кооперативному движению, — резко обратился однажды Ершов к своему учителю. — Вот вы говорите, что в Германии развивается социал-демократическое движение. Что же из того? Советовать идти по этой дороге и я могу. А вы научите нас, как идти, как приступить к организации. Вот в чем загвоздка.

Федор Петрович сразу осел, растерялся и, не найдя нужных слов, хотел перевести разговор на другое, но чернорабочий железнодорожного депо Михаил Богатырев, год тому назад введенный

в кружок, не дал увильнуть от поставленного прямо вопроса.

— Вы уж начистоту, Федор Петрович, — сурово произнес он. — Объясните нам по порядку. Вот все у нас ладно, все хорошо. Одного только никак понять не могу: какая же у нас цель? Не в ступе ли мы воду толчем?

В его голосе не было уже и тени прежней робости, неуверенности. Рабочий больше не спрашивал, он приказывал, диктовал.

И студент вдруг со всей непреложностью понял, что эти люди, которые так недавно еще воспринимали каждое слово его почти как откровение, до того возмужали, что для дальнейшего развития их у него нехватит ни умения, ни знаний.

— У немецких рабочих союз! — поднялся в свою очередь Туров. — А мы чем хуже немцев? У них немецкий, а у нас будет свой, российский союз рабочих людей.

В ту же ночь, едва Ершов и Туров улеглись, Клябин, подчиняясь решению сходки, принялся за составление устава союза иваново-вознесенских рабочих.

«Пункт первый, — строчил он, хмуро сдвигая брови, — объединение в кружки. Пункт второй: кружки объединяются в городской союз. Пункт третий: учиняется членский взнос на библиотеку и взаимную помощь...»

С печи, притворяясь спящим, Коля одним глазком следил за студентом. Он едва сдерживался, чтобы не спрыгнуть на пол и не закружиться вихрем по комнате. Его душа ликовала. Кончено! Больше он не одиночка, не беззащитный раб фабриканта, а солдат готовой в бой армии рабочих людей!..

Кружок Клябина пополнялся все новыми и новыми членами. На сходках никто уже не спорил о том, по какому пути надо идти, как вернее вести борьбу за освобождение рабочего класса.

О Глумовском и его единомышленниках перестали и вспоминать, как будто не было их никогда. Да и что им было делать в таком городе, как Иваново-Вознесенск, в этом русском Манчестере, переполненном рабочим, фабричным народом, среди которого все чаще и чаще поминалось уже имя Владимира Ильича!

Организация рабочих непрерывно росла. «Почти на всех фабриках и заводах города были уже ее представители, через которых она связывалась с остальной рабочей массой». «Организация строилась по следующей приблизительно структуре: город разделен на несколько районов; во главе организации стояла группа Северного Комитета Р.С.-Д.Р.П. Назначаемые им и подчиненные ему непосредственно районные организаторы ведали районами. Кроме того, были фабричные и заводские организаторы районов, которые в свою очередь избирались заводскими ячейками...»¹

Полиция и жандармы всполошились — в рабочих поселках на заборах, а на фабриках в местах общего пользования все чаще появлялись листовки; шпики то и дело доносили о тайных собраниях; ходили слухи, что организация социал-демократов обзаводится подпольною типографией; что на фабрике Карелина готовится забастовка и что создан уже забастовочный комитет...

Началась полоса повальных обысков и арестов.

¹ Ф. Самойлов. По следам минувшего. Изд-во „Старый большевик“, М., 1934.

Так, на одной из массовок, среди других партийцев, были захвачены Ершов и Туров.

Но чем больше свирепствовали жандармы, тем крепче закалялись рабочие, тем неотвратимей шагали они к светлому своему будущему...

Шла к своему будущему и Елена Афанасьевна Коренкова.

Она давно уже была помолвлена с Александром Сергеевичем и усердно готовилась к венцу.

Коренков, спасенный отцом жениха от разорения и ставший мелким пайщиком фабрики Карелина, не щадил денег и лез вон из кожи, только бы «так набить приданым сундуки дочери, чтобы все ивановские девушки завистью изошли».

Но вот наступил и день свадьбы.

Портниха принесла подвенечное платье.

— Ну, чистая тебе покойница Анна Петровна! — всплеснула руками Даниловна. — Прямо, в подвенечном наряде вся ты, до потрохов, материнский пантрет!

И повернулась к находившейся в последние дни безотлучно при невесте свахе Дормидонтовне.

— Глянько-сь, и плачет по-ейному, по-матерински. Ну что ты скажешь! Чистая Анна Петровна!

Елена Афанасьевна и впрямь заливалась слезами.

О чем она плакала? Какие мысли томили ее? Что хоронила?..

К воротам подкатила карета.

Кучер в бархатном кафтане, опоясанном кумачовым шелковым кушаком, в шляпе с павлиньими перьями, осадил тройку серых чистокровных английских коней.

— Тпрр!

Из кареты выпрыгнул сын городского головы, Верденев, шафер невесты.

Поправив вербену в петлице фрака, он снял с руки белоснежную перчатку, перекинул ее в другую руку и направился в дом.

Через минуту Верденев вывел под руку Елену Афанасьевну и, усевшись с ней в экипаж, приказал трогать.

— Нно! — чмокнул кучер и натянул струнами вожжи.

Почти перед самой церковью кучер вынужден был, однако, остановиться, — по улице проходил этап.

Елена Афанасьевна покрылась смертельною бледностью и упала в объятия онешившего от неожиданности шафера.

Ей показалось, будто она увидела среди арестантов, шагавших с высоко поднятой головой, Колю Ершова и Митю Турова...

СОДЕРЖАНИЕ

Кабала	3
Семья Грудновых	87
В ситцевом царстве	144
Первые ласточки	228

ОТРА
115

57
D.M.K.

4 р. 50 к.



